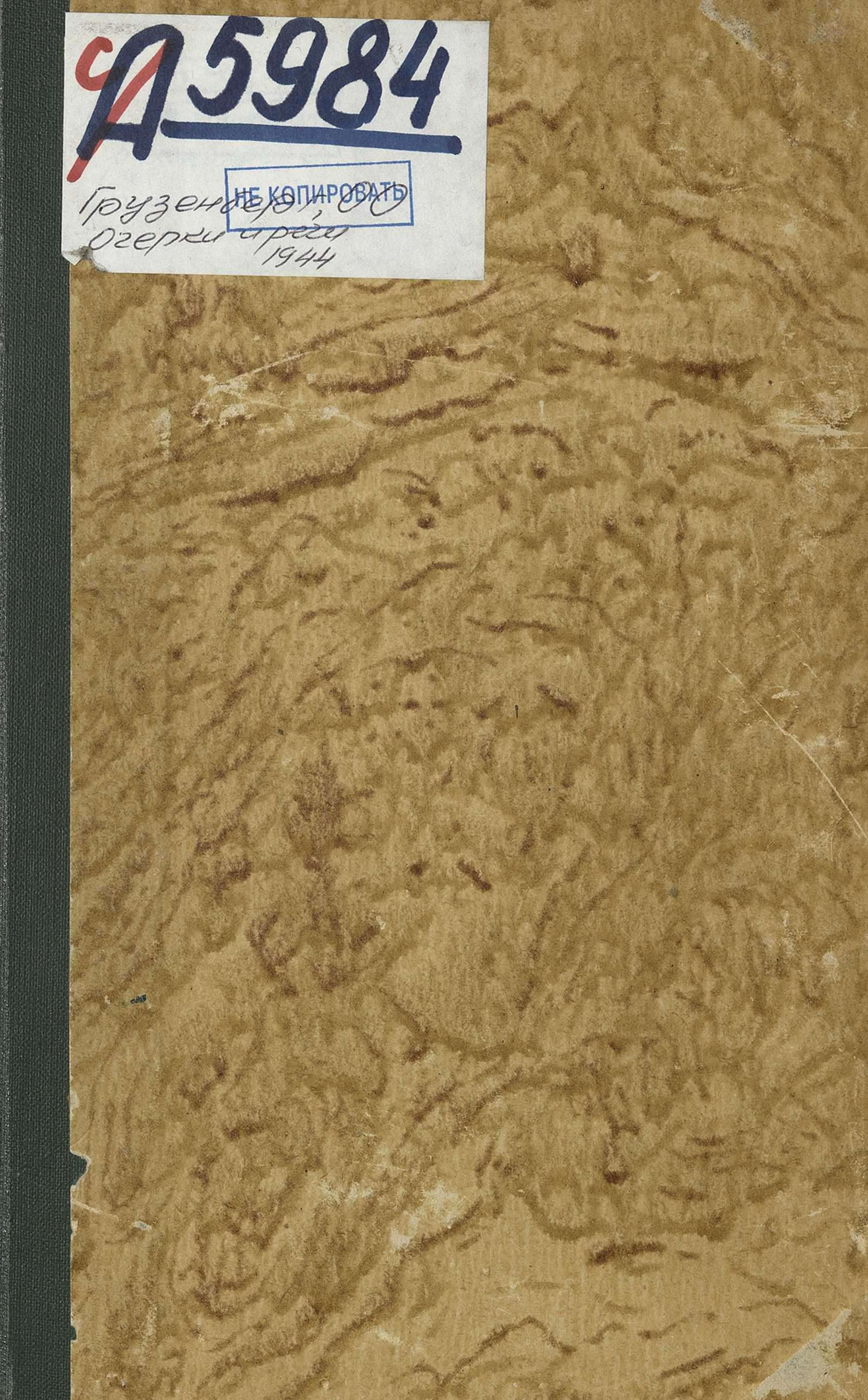
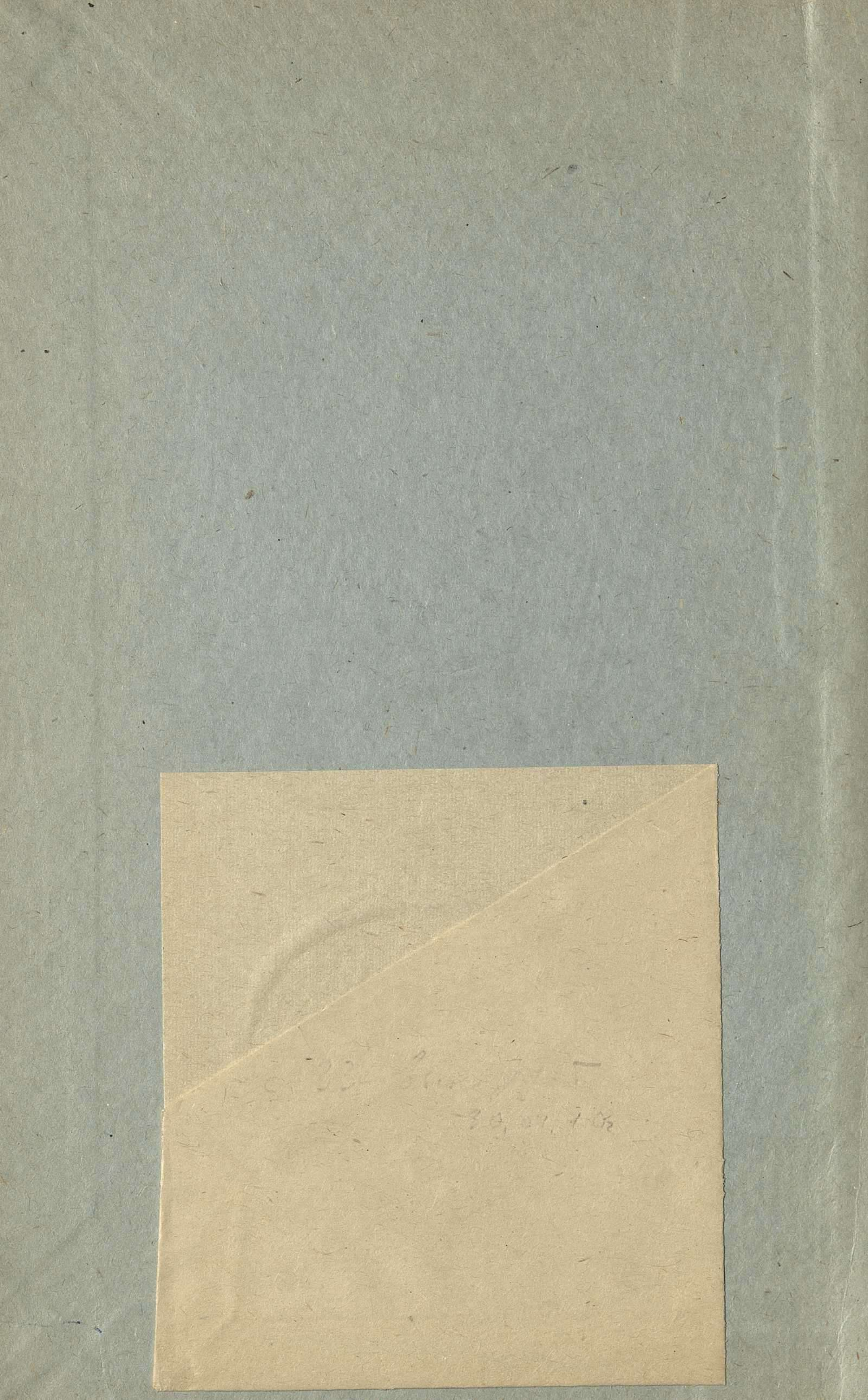


Д 5984
НЕ КОПИРОВАТЬ
Грузенберг, О.О.
Очерки и речи
1944



О. О. ГРУЗЕНБЕРГ.

ОЧЕРКИ И РЕЧИ

НЬЮ-ЙОРК

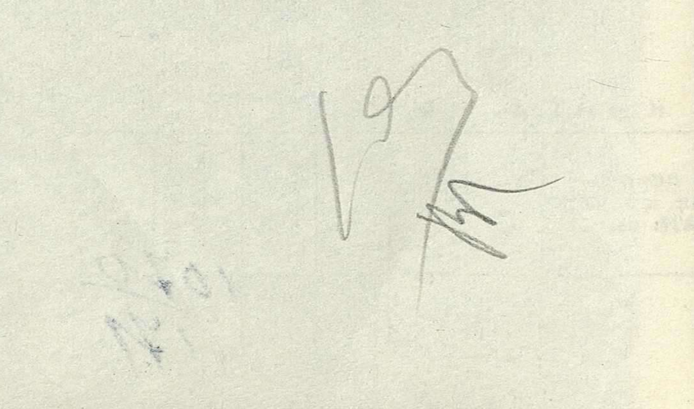
1944

С. Л.

КНИГА ИМЕЕТ

печатных	Выпуск	В перепл. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Служебн. №№	№№ списка и порядковый	1961 г.
	1						1012 / 171	

97/3—10.000.





О. О. ГРУЗЕНБЕРГ

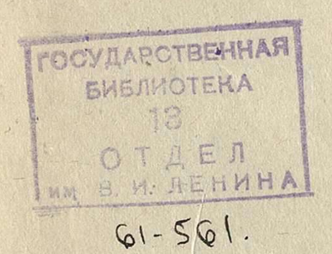
ОЧЕРКИ И РЕЧИ

С вступительными статьями

Е. М. КУЛИШЕРА, И. А. НАЙДИЧА,

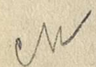
А. Я. СТОЛКИНДА и И. Л. ЦИТРОНА

Обложка работы художника С. Лиссима



НЬЮ-ИОРК

1944





Printed by
GRENICH PRINTING CORP.
151 W. 25th St., N. Y. C.





О. О. ГРУЗЕНБЕРГ С ЖЕНОЙ
Портрет работы художника В. А. Серова
С.-Петербург — 1909.

Оскар Осипович Грузенберг скончался в Ницце 27 декабря 1940 года.

За месяц до кончины он писал:

> Я закончил второй том моих воспоминаний. По об'ему он приблизительно такой же, как и первый («Вчера»). По содержанию, П. Н. Милюков... нашел его глубже и интереснее первого.
>
> Лично о себе ничего хорошего сказать не могу: еле передвигаюсь даже в своей небольшой квартире при помощи Розы Гавриловны, которая и сама весьма сдала («укатали сивку крутые горки»). Страдая бессонницей, я провожу большую часть суток за письменным столом. Увлеченный работой, я забываю физические и душевные страдания...
>
> Моя просьба к Вам: продать мои авторские права любому издательству для выпуска на английском, еврейском... и на русском языке*).

Настоящая книга является попыткой осуществить изложенную в этом письме последнюю волю О. О. Грузенберга.

После его кончины, его жена — ныне также покойная — поручила приведение в порядок его литературного наследия С. В. Познеру, который составил программу четырехтомного собрания сочинений Грузенберга и занялся подготовкой его биографии. Но это обширное издание может увидеть свет только по окончании войны.

Группа друзей Оскара Осиповича, выпускающая настоящую книгу, была вынуждена ограничиться тем материалом, который оказалось возможным найти в Нью-Иорке. Часть

---

*) Из письма к А. А. Гольденвейзеру от 27 ноября 1940 года, полученного в Нью-Иорке уже после смерти О. О. Грузенберга.

материала получена от С. В. Познера из Ниццы, часть найдена в местных библиотеках, в которых хранятся старые комплекты «Права», «Речи» и т. д.

Грузенберг был адвокатом не только по профессии, но и по призванию. Две его большие речи об адвокатуре, напечатанные в настоящей книге, — речь в защиту прис. пов. А. Гиллерсона («О свободе речи на суде») и юбилейная речь «О петроградской адвокатской громаде», — с большой силой выражают его принципиальные взгляды на роль и значение адвокатуры.

В юбилейных и поминальных статьях о Милюкове, Набокове, Петражицком, Слиозберге, Тейтеле и др. сказывается его подход к людям и выработанный им стиль литературного портрета. Статьи эти, так же как воспроизведенные в книге передовые статьи из журнала «Закон и суд» («Из дневника юриста»), являются вместе с тем образцами его своеобразного, красочного языка и слога.

Самой ценной частью духовного наследия Грузенберга несомненно являются его судебные речи. К сожалению, он при жизни не собрался издать сборника своих речей. Но на страницах старых журналов сохранились стенографические отчеты о выступлениях Грузенберга в некоторых громких процессах — уголовных, литературных и политических.

Читатель найдет в этой книге отрывки из его речи по наиболее громкому из этих процессов — по делу Бейлиса, в котором Грузенберг выступал, как защитник оклеветанного еврейства. Речи в Сенате (по делу Дашевского) и в Главном военном суде (по делу Пономарева и по делу о нападении на станцию Синельниково) показывают, как много блеска и темперамента он умел вложить даже в спор о сухих, формально-юридических «кассационных поводах». Наконец, в речах по делам Совета рабочих депутатов и Всероссийского крестьянского союза перед нами Грузенберг — политический защитник, смелый и упорный боец за права личности в полудеспотическом государстве.

Грузенберг до последних дней вел обширную переписку

с рядом выдающихся людей — писателей, политических и общественных деятелей. К сожалению, он не оставлял у себя копий своих писем, а оригиналы либо пропали, либо находятся вне пределов досягаемости. Зато в архиве Грузенберга сохранилось большое количество писем к нему, интересных как материал для биографии не только его самого, но и его корреспондентов. В этой книге было возможно дать только несколько таких писем — Горького, Короленко, Кони и Репина. Воспроизведенные отрывки из писем Грузенберга за 1938—1940 г.г. содержат характерные для него отклики на события последних лет.

«Жилось со всячинкой, всего было, — писал Грузенберг незадолго до своего 60-летия*). — Но ни болезнь, ни материальные невзгоды не ослабили моего духа. Ни о чем не жалею, ни от чего не отрекаюсь, — и, если бы мне пришлось начинать жизнь сначала, я в ней вряд ли что изменил бы».

Хотелось бы, чтобы настоящая книга помогла закрепить в памяти широких кругов наиболее ценные итоги этой жизни.

А. А. Гольденвейзер
И. А. Найдич
Б. Ю. Прегель
А. Я. Столкинд
И. Л. Цитрон

*) В письме к М. Я. Лазерсону от 31 декабря 1925 г.

О. О. ГРУЗЕНБЕРГ КАК АДВОКАТ

Большой политический процесс. Длинная скамья подсудимых. Перед нею ряд защитников, с Грузенбергом во главе. Судит Особое Присутствие С.-Петербургской Судебной Палаты. Председательствует Крашенинников, умный и проницательный, тонкий юрист, желчный и больной (весь его завтрак — стакан черного кофе, стакан горячего молока и два сухаря), презирающий всех, — и подсудимых, и адвокатов, и прокурора, и судей. Ему не сидится на председательском кресле. Так и сейчас он председательствует стоя. Защита, в лице Грузенберга, только что обратилась к суду с ходатайством. Крашенников даже не делает вида, что совещается с другими судьями. Как он стоял, он отчеканивает:

«Выслушав заявление защиты и принимая во внимание то-то и то-то и то-то, Особое Присутствие Санкт-Петербургской Судебной Палаты определяет: в означенном ходатайстве отказать».

Пока Крашенинников объявлял это определение, Грузенберг встал. И в тот момент, когда прозвучало слово «отказать», он начал:

«Ввиду состоявшегося определения Особого Присутствия, защита собралась на экстренное совещание и, всесторонне обсудив создавшееся положение, единогласно поручила мне сделать нижеследующее заявление». И затем последовал тонкий юридический анализ, преподносивший в несколько иной форме то же требование защиты.

Крашенинников, формально честный судья, сразу признал свое поражение. Палата удалилась для совещания и удовлетворила требование защиты.

Таким вспоминается мне Грузенберг. Всегда во всеоружии

юридических знаний. Настойчивый, несмотря ни на какие неудачи. Не теряющийся ни при каких условиях. Смелый до дерзости и самозабвения.

Покойный Жаботинский как то сравнил, именно в применении к Грузенбергу, защитника с человеком, лезущим по желобу на пятый этаж спасать ребенка из горящей квартиры. Эта отважная эквилибристика начиналась для Грузенберга еще задолго до судебнаго заседания, в его стараниях не допустить дело до суда, а если это невозможно, создать наиболее благоприятную обстановку для его слушания.

О. О. все учитывал, вплоть до выбора наиболее благоприятного момента для рассмотрения дела. Он сам рассказывает, как несколько раз срывал дело Милюкова и Гессена (обвинявшихся в опубликовании в «Речи» манифеста Совета Рабочих Депутатов), а затем быстро добился его разбирательства в тот момент, когда пошли слухи о поручении Милюкову сформировать министерство. Как известно, проэкт вскоре был отвергнут, но Милюков и Гессен тем временем были оправданы.

Грузенберг хорошо понимал психологию коронных судей и умел учитывать ее. Коронный судья, по своей долголетней профессиональной привычке, невольно склоняется в сторону обвинения. Задача защиты преодолеть это предубеждение, заставить честного судью (а таково было большинство русских судей даже в политических процессах) почувствовать юридическую и психологическую невозможность вынесения обвинительного приговора или необходимость его смягчения.

После неудавшейся революции 1905 года, был предан суду первый Совет Рабочих Депутатов, в лице своего исполнительного комитета, по обвинению в образовании революционного сообщества и в призыве к вооруженному восстанию.

Грузенберг (он защищал по этому делу Троцкого) вызвал на суд в качестве свидетелей тех свыше 300 уполномоченных заводов и фабрик, которыми был избран Исполком. «Я нашел важным для дела, рассказывал он впоследствии, продемон-

стрировать их на суде, дабы была очевидна та боевая сила, которая стояла за Советом». Каждый из этих свидетелей начинал свое показание чтением заявления рабочих о том, что подсудимые исполняли только их волю. Рабочие требовали, чтобы Палата судила их всех наравне с подсудимыми. Таких засвидетельствованных заводоуправлением подписей было свыше 120 тысяч.

Таким путем Грузенберг добился того, в чем он усматривал основное требование судейской справедливости по подобным делам, где отдельные лица обвиняются в действиях, связанных с массовым революционным движением. Это требование, как О. О. формулировал его по делу о Всероссийском Крестьянском Союзе, состоит в том, чтобы «не делать ответственными единицы за стихийный порыв сотен тысяч»; чтобы не пред'являть к нескольким десяткам лиц «обвинение за то, что назрело в душе всей огромной и великой, но задержанной в своем развитии страны».

На суде Грузенберг, с первого момента слушания дела, был весь в борьбе. Он не ждал окончания следствия, чтобы потом, в заранее приготовленной речи, пытаться склонить на свою сторону судей, у которых уже составилось определенное мнение. Он старался расшатать обвинение каждым своим заявлением, по каждому поводу, на протяжении всего дела. Он не давал сложиться отрицательному впечатлению, неблагоприятному для показаний свидетеля защиты, но спешил сделать ссылку на другой доказательственный материал; давал об'яснения по поводу каждого оглашенного документа; парировал заявления прокурора; с корректной резкостью отвечал председателю, стеснявшему права защиты; а когда нужно было, вступал в невидимую борьбу и с клиентом, готовым погубить себя.

На процессе Совета Рабочих Депутатов, о котором уже было упомянуто, создалась в течении нескольких месяцев его слушания благоприятная для подсудимых атмосфера. И главное, стиралось самое опасное: призыв к вооруженному восстанию, за который грозила каторга. Но внезапно наиболее

серьезная опасность сказалась со стороны подсудимых, желавших открыто заявить, что они считали вооруженное восстание необходимым. Тогда Грузенберг устроил, по хорошо использованному поводу, уход защиты и отказ солидарных с нею подсудимых от участия в разбирательстве. Об'винение в призыве к вооруженному восстанию было отвергнуто. Подсудимые были приговорены к ссылке, «из которой бежали все, кто этого хотел».

С. А. Андреевский — этот «поэт среди юристов и юрист среди поэтов» — как то охарактеризовал совершенную защитительную речь, как художественное воспроизведение действительности. Разница между беллетристом и адвокатом, говорил он, лишь в том, что первый свободен в выборе творимых им персонажей; адвокат же связан лицами и событиями судебной драмы. Ничто не было столь чуждо Грузенбергу, как такой подход к адвокатской речи. Правда, и он подчеркивал, что защитник должен «вскрывать те душевные мотивы, которые всколыхнули душу подсудимого и поставили его в противоречие с законом. И если для этого надо проникнуть в дивный мир его идей и грез, если надо обрисовать их колдующую власть, он не только может, он обязан это сделать». Но защитник должен делать это в пределах, очерченных его задачами, т. е. «ища оправдания или смягчения вины». Безразборное вскрытие защитником или самим подсудимым тайников его мысли противоречит задачам защиты и условиям судебного процесса, где «каждое слово подсудимаго подвергается досмотру прокурора с целью найти матерьял для обвинения». Суд не всегда место для исповеди. «Для исповеди нужна тайна и отпущение». На суде нет «ни того, ни другого, здесь тайну слушает прокурор и его рука ведет аккуратный счет прегрешениям не только делом, словом, но нередко и помышлением».

Речь Грузенберга была красива, потому что он был мастер слова и потому что он ценил форму, как средство, чтобы приковать внимание судей, заставить их слушать и воспринять доводы. Но она была красива, прежде всего, своей целеустрем-

ленностью, как красиво смертоносное орудие в своей грозной мощи. Грузенберг считал для себя оскорбительным, когда его поздравляли с блестящей речью. Блестящая, говорил он, — значит бессодержательная, бьющая на внешний эффект. Сильная, умная, жестокая и, превыше всего, убедительная — вот те эпитеты, которыми он сам награждал понравившуюся ему судебную речь.

В его речи было еще и другое, чем она захватывала: пронизывавшая ее страстность, преисполненность несокрушимой верою в то, что он говорил, и стремление внушить эту веру слушателям.

Один талантливый защитник, в перерыве заседания, — перед тем, как нам предстояло выступить перед присяжными с речами, — с сокрушением заметил: «Слово — какое это несовершенное средство воздействия! Если бы присяжные знали, что вынеся неправый приговор, они рискуют быть подстреленными из за угла, — было бы другое дело. Но пытаться заставить их прислушаться к доводам по чуждому и безразличному для них делу и силой слова привить им наши мысли, — как мало можно на это рассчитывать». Грузенберг не знал подобных сомнений. Он несокрушимо верил в силу слова, доводов, убеждения.

Эта вера оправдывалась результатом. О больших адвокатах часто говорят, что их выступления «неизменно сопровождались успехом». Это — нелепое преувеличение. В исходе дела роль адвоката — лишь одно из слагаемых. Тем более неприменим такой критерий оценки к Грузенбергу, который большую часть своих дел вел в кассационной инстанции, где отменяется лишь ничтожный процент обжалованных приговоров. Но можно сказать другое: он делал для подзащитных все, что возможно было сделать, и заставлял судей следовать его доводам везде, где это было возможно. При этом он отнюдь не был адвокатом qui a l'oreille du juge. С ним соглашались не потому, что хотели итти за ним, а потому что не могли не итти за ним. Его высоко ценили и уважали, но едва ли кто

либо из тех судей, пред которыми он одерживал свои победы, особенно благоволил ему.

Главная адвокатская работа Грузенберга проходила в кассационных инстанциях — в уголовном кассационном департаменте Сената и в Главном Военном Суде.

Деятельность Грузенберга, как адвоката — кассатора, была проникнута сознанием высокой и своеобразной задачи кассационного контроля. В кассационном суде, говорил он, не столь важно отношение преступника к закону, сколько отношение закона к преступнику. Грузенберг бесспорно занимал первое место среди русских адвокатов, выступавших перед уголовным кассационным департаментом Сената и главным военным судом. Он обладал для этого всеми необходимыми данными. Он знал, как никто, закон со всеми его тонкостями и все, что могло служить к его выяснению — юридическую литературу и, в особенности, судебную практику, вплоть до решений, постановленных Сенатом не в общем составе Департамента, а в его отделениях и потому не подлежавших опубликованию. Это давало ему возможность говорить с сенаторами на их языке, не утомляя их общеизвестным, исходя из только что преподаннаго ими же раз'яснения закона. Но это менее всего было жонглированием и щеголянием новейшими решениями. Грузенберг давал свой собственный, основанный на осознании самой сущности уголовного правосудия, анализ закона и заставлял сенаторов итти за ним, указывая, что к этому именно заключению ведет их собственная кассационная практика. «Вы сами, — бывало, говорил он, — лишь на прошлой неделе пришли к такому заключению по делу Петрова. Неужели-же вы будете разсуждать в разрез с самими собою по делу Апельбойма?». И это действовало даже на таких сенаторов, как пресловутый Гредингер, который старался антисемитским лицеприятием затушевать свое еврейское происхождение.

Но аргументация Грузенберга пред кассационным судом никогда не ограничивалась пределами формальной юридической диалектики. И в этом была его главная сила. По каждому

делу он стремился показать, что допущенное судом нарушение формы или неправильное толкование закона бьет по самому правосудию. Он требовал отмены приговора не во имя преклонения пред буквой закона, а потому что допущенное судом нарушение устраняет уверенность в правосудности самого приговора и причиняет жестокий ущерб самому правовому строю.

Вне сферы кассационного производства, там, где суд рассматривает дело во всей его полноте, остро отточенное оружие юридического анализа тем более являлось для Грузенберга лишь средством проникновения в глубину дела.

Вспоминается его роль в сенсационном когда-то процессе Смоленских дантистов. Свыше 200 евреев обвинялись в получении за деньги дипломов на звание дантиста, дававших им повсеместное правожительство. Обвинительный акт ставил дело с сугубой принципиальностью. Обвиняемые евреи, говорил он, пошли на приобретение поддельных документов, «чтобы стереть с карты Российской империи ненавистную для них черту оседлости». Защита не приняла этого вызова. 60 адвокатов почти сплошь занимались доказыванием того, что именно их клиенты получили диплом дантиста на законном основании.

На заседании комитета защитников, руководившего ведением процесса, мы, младшие члены его, восстали против такого ведения дела, совершенно затушевывавшего его общественное значение. Но старшие один за другим резко отвечали, что подсудимые не идейные люди; они хотят лишь уйти от обвинения, грозящего им суровым наказанием. Какое право имеет защита, в этих условиях, вести на их спинах борьбу за принципы

Тогда в спор вмешался Грузенберг. С жестокой насмешкой охарактеризовал он то, что происходило на суде. Нужно доказать, говорил он, что дипломы подлинные, а для этого нужно доказать, что подсудимые учились в Смоленске. Там они питались в еврейской кухмистерской. Если они ели фаршированную рыбу, значит они жили в Смоленске, учились там и, на

законном основании, получили диплом. И вот, вызванный защитой в качестве свидетеля хозяин кухмистерской удостоверяет, что и тот, и другой, и двадцатый из числа подсудимых обедал у него. Никогда хозяин кухмистерской вероятно не торговал так хорошо у себя в Смоленске, как здесь в Москве, на суде, и наивно думать, что Судебная Палата этого не замечает. Грузенберг закончил требованием, чтобы судебная борьба была перенесена в другую плоскость, чтобы было выявлено, что обвиняемые добивались, путем получения диплома, не корыстных целей, которые имеет в виду грозная статья закона, а естественного права передвижения, принадлежащего даже собаке, свободно перебегающей черту еврейской оседлости.

Его не послушали. Процесс потянулся в прежиих тонах. Но в результате прав оказался Грузенберг. Помогла не «индивидуальная защита», а то именно, от чего открещивались сторонники практическаго подхода. Жизненная правда — трагедия гонимых людей — вольно и невольно давала о себе знать на каждом шагу. В создавшейся атмосфере оказалось невозможным применить закон, рассчитанный на злонамеренных преступников, к труженикам, добивавшимся возможности честно зарабатывать свой хлеб. Юридический анализ обвинения, данный Грузенбергом, указал выход. Палата, отвергнув пред'явленное подсудимым обвинение, грозившее лишением прав и годами арестантских отделений, признала их виновными в пользовании маловажным поддельным документом и присудила к тюрьме на два-три месяца без лишения прав.

Грузенберг верил в ту работу, которой он посвятил свои силы, знания, дарование. Когда он говорил в своих защитительных речах: «пока я ношу значек, пока я стою здесь, — это место для меня свято», — эти слова не были для него пустой фразой. Он всем своим существом был проникнут сознанием святости того, чему служил. Работу адвоката он ставил превыше всего.

Имя Грузенберга гремело главным образом в связи с политическими, литературными и другими процессами, имевшими широкое общественное значение.

Особое место среди них принадлежит делам еврейским. Еврейство с годами приобретало все больший вес в юридической, общественной и личной жизни Грузенберга. Ритуальное дело Блондеса было эпизодом на адвокатском пути молодого Грузенберга. В зените его славы ритуальное дело Бейлиса является высшим воплощением его облика, как адвоката и человека. В промежутке были дела погромные. А последние два года адвокатской работы Грузенберга в полном смысле слова посвящены защите еврейства, защите от навета в шпионаже, созданного военными властями для оправдания собственных неудач.

Вне этого, среди дел, имевших, по самой природе своей, общественное значение, особенно выделяются две категории.

Такова, прежде всего, серия процессов по ликвидации революции 1905 года. Власть расправлялась с побежденным противником, мстя за свою собственную слабость, проявленную в момент опасности. Грузенберг участвовал в наиболее громких массовых процессах: Совета Рабочих Депутатов, Крестьянского Союза, областного с'езда эсеров и мн. других, и как то само собой выходило, что на него падала роль лидера защиты, хотя бы в рядах ея были старшие и, в то время, более прославленные адвокаты. Наряду с этими процессами, проходившими на авансцене политической жизни, шла непрерывная работа, по преимуществу в главном военном суде, по защите рядовых виновников революционных вспышек, которые предавались военному суду для того, чтобы было возможно применить к ним смертную казнь.

Другую категорию составляют дела литературные. Грузенберг был бессменным защитником передовых органов русской печати: «Речи», «Права», «Русского Богатства». Его клиентами были Горький, Короленко, Мякотин, Пешехонов, Милюков, Набоков, Гессен, Чуковский, Прокопович, Яблоновский. Поистине вся русская литература во всех ее видах и направлениях.

Но процессы, отражавшие освободительную борьбу народов России, отнюдь не поглощали всего Грузенберга. Как он

сам подчеркивал, он вступил в ряды политической защиты уже будучи известным адвокатом. И на всем протяжении своего адвокатского пути он сохранил весь диапазон профессионального криминалиста, защищающего преступника, независимо от мотивов, приведших его к столкновению с законом. В частности, подавляющее большинство дел, которые он вел в Сенате, на этой главной арене его деятельности, не имело ничего общего с «политикой». И нередко, по какому нибудь будничному делу, обыденному очередному номеру уголовной юстиции, Грузенбергу удавалось добиться сенатского раз'яснения, отзвуки которого сказывались затем в отправлении правосудия по всему лицу Российской Империи.

Грузенберг считал, что всякий защитник на суде, хотя бы и по делу, лишенному политического или иного общественного значения, несет «невидную, но великую службу — службу защиты личности против натиска на нее государства, против ошибок и несправедливости обвинения». В своих воспоминаниях он рассказывает, как он осознал это будущее свое призвание еще студентом, посещая залы суда. Там «все против одного. Все государство, весь мир. Кто-же за него? Кто заслонит? Один единственный: защитник».

Именно эта задача з а щ и т ы л и ч н о с т и против всесилия государства являлась для Грузенберга руководящей линией в ведении политических дел — здесь более, чем где либо. На 50-летнем юбилее Петроградской адвокатуры, Грузенберг резко поставил вопрос о том, что именно так властно толкает адвокатуру на скамью политической защиты. «Единомыслие с подзащитными? — нет, не это: на скамье политической защиты сидело и сидит не мало защитников, не разделяющих их убеждений и тактики». Не в том вопрос, говорил он, много ли в адвокатуре радикальных элементов. Такой подсчет — дело политических партий и политической полиции. Основа адвокатской работы по политическим делам лежит в ином: в сознании, что «там, где государство напирает со всей своей безграничной мощью, со всей неотвратимостью своих беспощадных рессурсов на песчинку — на отдельную личность

— там, и прежде всего там, место адвокату. Там должны найти применение важнейшие доблести защитника — бесстрашие, готовность принимать на свою грудь направленные против подсудимого удары и умение не бояться одиночества — в зале судебного заседания».

Грузенберг самым решительным образом отмежевывался от взглядов той группы адвокатуры, для которой защита по политическим делам являлась порученным им участком революционного фронта. Мне вспоминается ужин, данный А. В. Пешехоновым в честь защитников по делу о Крестьянском Союзе. (Грузенберг защищал Пешехонова и добился его оправдания). Воздавали хвалу присутствующим адвокатам и пили за их здоровье. Отвечая на эти тосты, А. Ф. Керенский смиренно заметил, что мы, защитники по политическим делам, лишь скромные фигуры в общественно-революционной борьбе, что главная роль принадлежит активным революционерам и что превыше всех заслуживают благодарности наши учителя, указавшие пути этой борьбе. И он низко поклонился сидевшим за столом Короленко, Лесевичу и Анненскому. Тогда вскочил Грузенберг. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон — так он начал свою речь. — Адвокат может быть пешкой в общественной работе, которую он ведет вне суда. Но когда он выступает в защиту преследуемых государством, он делает свое дело, великое дело! И это дело не меркнет по сравнению ни с какой политической борьбой. Государственный строй меняется. Власть приходит и уходит. Партии слагаются и распадаются. Но незыблемыми остаются те принципы права и свободы, во имя которых адвокат встает на защиту личности». Это была вдохновенная речь. Чувствовалось, что Грузенберг говорит о самом для него значительном.

Величие адвокатуры Грузенберг видел именно в том, что она становится на защиту жертв политическаго преследования и государственного произвола, кто бы ни были эти жертвы и от кого бы ни исходило гонение. Высшее проявление этого истинно-адвокатского духа он усматривал в мужественном принятии на себя французскими адвокатами защиты Людо-

вика XVI и Марии Антуанетты и в их решении, что тот, на кого падает выбор, должен начать речь словами: «я приношу конвенту истину и свою голову. Он может располагать моей жизнью, но лишь после того, как выслушает мои слова».

В 1909 году прис. пов. Гиллерсон был привлечен к уголовной ответственности за бунтовщический призыв, который прокуратура усмотрела в его речи по делу о белостокском погроме. Вся русская адвокатура встрепенулась, узнав о таком посягательстве на свободу ее слова. Была организована корпоративная защита в лице представителей всей русской адвокатуры. Но фактическое ведение дела было поручено Грузенбергу*). Вот слова, которыми он закончил свою защитительную речь:

«Как суров бы ни был приговор, — он русской адвокатуры не запугает; куда бы исторические судьбы ни забросили ее членов — в реакционный ли застенок, или революционный трибунал, — всюду они отдадут своим подзащитным свои помыслы, всю силу души — и в этой всепоглощающей работе не останется ни минуты для малодушного страха за себя». Судьбы русской адвокатуры, увы, сложились иначе. Ей не суждено было гордо встать в революционном трибунале на защиту тех, кого революционная власть преследовала и истребляла за их убеждения. В страшные годы этих преследований славная корпорация русской адвокатуры была уже разгромлена.

Характеризуя выступление В. Н. Герарда на процессе 1 марта 1881 года — процессе об убийстве того, кто был особенно дорог всем деятелям нового суда, — Грузенберг говорит: «когда читаешь с замиранием сердца эту речь, то и дело прерываемую остановками, замечаниями, — так и кажется, что видишь — как близкий и дорогой тебе человек плывет, выбиваясь из сил, против громадной волны. Вот вот захлестнет, вот вот поглотит, но смелый пловец рассекает

---

*) Речь в защиту Гиллерсона приведена полностью в очерке «О свободе», который читатели найдут в этой книге.

волну, ныряет — и через несколько мгновений он снова на поверхности, снова бьется — и плывет все дальше и дальше».

Таким именно встает в памяти знавших его сам Грузенберг, адвокат с головы до ног. Некоторые речи его и отрывки из речей помещены в этой книге. Но как слабо мертвые страницы отражают бури былых дней! Убраны грандиозные кулисы истории. Не слышен отдаленный рокот борьбы великого народа за лучшее будущее, за право и свободу. Не видна сама сцена, меняющаяся от процесса к процессу, то заполненная толпою трепетно внемлющих слушателей, то пустынная, — защитник один с подсудимым пред равнодушными судьями в мундирах, и холодные стены вокруг. И, главное, пред нами нет самого оратора, с его горящими глазами, со строго контролированными жестами, не слышно голоса его, то мягко-сдержанного, то поднимающегося в порыве негодования до резких ударов и подчиняющего силою страсти и разума внимание и волю тех, к кому обращены его слова.

Что-ж, такова судьба адвоката. К нему применимы слова, сказанные поэтом об актере:

Dem Mimen flickt die Nachwelt keine Kraenze.
Doch wer den Besten seiner Zeit genug getan,
Der hat gelebt fuer alle Zeiten*).

Евг. Кулишер.

---

*) Актеру потомство не сплетает венка. Но кто свершил чаяния лучших людей своего времени, тот жил для всех времен.

ПАМЯТИ О. О. ГРУЗЕНБЕРГА

Воспоминания из залы суда

Кто следил за русской судебной жизнью начала 1900-х годов, вплоть до закрытия судебных учреждений, тот не мог не знать О. О. Грузенберга. Бывало, откроешь газету, и чуть не ежедневно пестрит его имя то на защите в суде, то в Палате, либо в Сенате или в Военном суде. Ни один громкий уголовный процесс не проходил без его участия. Если не в первой, то во второй, — если не во второй, то в последней инстанции Грузенберга приглашали выступать.

Мне лично пришлось с ним впервые встретиться в 1906 г., когда будучи молодым студентом Петербургского Университета, я был приглашен московскою газетой «Русское Слово» в качестве судебного корреспондента. По обязанности мне тогда приходилось посещать все крупные процессы. С О. О. Грузенбергом я познакомился на процессе С. Петербургского Совета Рабочих Депутатов*). Мы просидели в зале около сорока дней. Реплики Грузенберга прокурору, его допрос свидетелей, мотивированные заявления суду, — всегда с многочисленными

*) В 1917 году Грузенберг встретился со своим бывшим подзащитным по этому делу — Львом Троцким. На совещании в Александринском театре, в котором участвовал и Грузенберг, Троцкий высказался за немедленное прекращение войны. Во время перерыва Троцкий подошел к Грузенбергу, который незадолго пред тем был назначен Временным Правительством сенатором, и спросил, как ему понравилась его речь. Грузенберг ответил: «За годы вашего пребывания заграницей я вас не слыхал. Вы не утратили своей эрудиции, своего блестящего ораторского таланта. Но в качестве сенатора у меня для вас готов каторжный приговор»... Троцкий возразил: «Вы хотите исправить ошибку, какую сделали, защищая меня».

точными ссылками на статьи закона и на сенатскую практику, причем Грузенберг указывал номера дел, приводил наизусть длинные выдержки без заглядывания в свои заметки или в книгу, — все это поражало слушателя. Грузенберг обладал удивительной памятью и умел ею пользоваться. Он был необыкновенно находчив, парировал с места удары противника, и в своих репликах был ядовит не только по отношению к прокурору, но и к самому председателю.

Мне вспоминается процесс жены известного революционного деятеля Рутенберга. В октябре 1905 г., во время разгона нагайками собравшейся у Технологического Института толпы студентов и гимназистов, она увещевала полицейского пристава пощадить детей и не рубить их шашками. Пристав велел отвести ее в участок, и против нее было возбуждено преследование за сопротивление властям при исполнении ими служебных обязанностей. В первой инстанции Рутенберг была присуждена к шести месяцам тюремного заключения. Дело было перенесено в Судебную Палату и защитником приглашен О. О. Грузенберг. Помню, как председательствующий в Палате Гредингер, который отличался особенной грубостью, обрывал Грузенберга во время следствия и прений сторон. Когда дошел черед до постановки вопросов, Грузенберг потребовал введения дополнительного вопроса по статье, в которой указывалось, что суд может понизить наказание до простого ареста, если доказано, что преступление было совершено в состоянии опьянения или возбуждения. Председательствующий Гредингер резко спросил, обращаясь к Грузенбергу:—«что ж, по вашему, подсудимая была в пьяном виде?», — на что Грузенберг, не задумываясь, ответил запальчиво: «Неужели, г. председатель, можно быть пьяным только от алкоголя? Люди пьянеют от горя, от отчаяния, как пьян сейчас я при виде того, как вами нарушаются судебные уставы». — Председатель замолчал. Благодаря защите Грузенберга, приговор был смягчен до двух недель ареста.

Подобное же столкновение с председателем было у Грузенберга, когда он выступал защитником в Ярославском суде

по делу об убийстве земского начальника. Председательствующий, — товарищ председателя суда, славившийся бесцеремонностью и грубостью, — во время следствия постоянно обрывал Грузенберга и наконец, крикнул ему, что на основании такой-то статьи закона при повторном вопросе удалит его из зала заседания. — Грузенберг вскочил и дал страстную отповедь: — «Г. председатель, я ни минуты не забываю, что согласно названной статье закона, вы являетесь хозяином этого зала. Я отлично знаю, что вы вправе мне делать замечания, отклонять мои ходатайства и даже удалить меня из зала заседания, не спросив мнения других судей. И я должен беспрекословно выполнять ваши распоряжения. Но в том же законе имеется и другая статья, согласно которой на защитника возлагается обязанность представить суду все те доводы, которые клонятся к оправданию или к смягчению вины подсудимых. Эта статья еще никем не отменена, — и она является якорем спасения для тех несчастных, которые вверяют нам свою судьбу. Пока я ношу значек присяжного поверенного, я буду, несмотря на угрозы, раздающиеся с председательского места, — свято выполнять возложенные на меня обязанности. Я считаю, что все предложенные мною вопросы ведут к ослаблению вины подсудимого». Затем Грузенберг дал подробный анализ сущности поставленных им вопросов. Реплика была настолько сильной, что председатель переменил тон и больше не прерывал Грузенберга.

Выступая против Попова, сотрудника «Руси», нанесшего оскорбление П. Н. Милюкову, Грузенберг дал блистательную реплику защитнику обвиняемого. Защитник утверждал, что Попов, вызвав Милюкова на дуэль и получив отказ, решил нанести оскорбление, дабы вынудить Милюкова к принятию поединка. Грузенберг возразил ему: «Вы хотите дуэли? Извольте, мы принимаем вызов, но поединок будет словесным. Милюков — известный общественный деятель, член Государственной Думы, профессор, автор многих трудов, редактор газеты и журнала, крупный ученый — вот наша пуля. А ваша? шантаж и деньги, деньги и шантаж».

По делу Лободы в Екатеринославе, Грузенберг выступал гражданским истцом, обвиняя подсудимого в подлоге духовного завещания. Защита указывала, что по этому подложному завещанию город Таганрог получал двести тысяч рублей на устройство водопровода, — на что Грузенберг сказал, что жителям Таганрога не нужна вода, отравленная подлогом.

Перед Особым Присутствием Сената Грузенберг защищал товарища министра земледелия Никитина и управляющего землеустройством и государственн. имуществами Вологодской губернии Павловского. Процесс наделал много шуму в печати и в обществе; сведения о нем появлялись в газетах под заголовком «Вологодская лесная Панама». В качестве свидетелей были вызваны министры и члены Государственного Совета, в том числе Коковцов, Ермолов, Кривошеин и др. Грузенберг вел защиту совместно с Карабчевским. На суде Грузенбергу удалось во время следствия выяснить, что процесс возник из-за интриг и доносов сослуживцев. Когда в своей речи обер-прокурор Сената назвал это дело Панамой, Грузенберг ему ответил: — «Я вполне согласен с вами, г. обер-прокурор, что в этом деле есть Панама. Здесь расхищали здоровье, честь и доброе имя убеленных сединами людей, которые сидят перед вами на скамье подсудимых». Его блистательная речь продолжалась около двух часов, изобилуя едкими афоризмами и неопровержимыми доводами. Помню, как присутствовавшие на суде министры и члены Государственного Совета потом подходили и жали руку Грузенбергу.

Грузенберг многих защищал безвозмездно, тратя на эти дела много времени, энергии и нервов. Его выступления часто спасали жизнь подсудимых даже тогда, когда дело всем представлялось безнадежным.

По делу студента Яновицкого, председателя совета старост С. Петербургского Технологического Института, казнь подсудимых считалась неизбежной. Дело это разбиралось Спб. Военным Судом и очень волновало общественные круги. Под Новый Год курсистка Высших Женских Курсов пригласила к себе на пельмени нескольких знакомых и соседей. Среди

гостей случайно оказался террорист-дезертир, которого никто из участников пирушки ранее не знал. Во время ужина явилась полиция. Когда полицейские постучали в дверь, террорист тотчас потушил свет и стал стрелять: один городовой был убит, другой ранен. Террористу удалось в темноте бежать и скрыться бесследно. Другие остались, были схвачены и преданы суду по обвинению в вооруженном сопротивлении. Сначала их хотели предать военно-полевому суду, но после усиленных хлопот видных членов Государственной Думы, дело передали в Военный суд. Мне довелось быть на заседании суда. Помню, как поздно вечером допрашивали городового. На вопрос председателя, узнает ли свидетель среди подсудимых того, кто стрелял, — городовой, повернувшись в сторону обвиняемых, твердо указал на Яновицкого. Момент был жуткий: казалось, что петля уже накинута на шею подсудимого. Председательствовавший генерал просил свидетеля хорошенько посмотреть на обвиняемого и взвесить свое показание, ибо дело идет о жизни и смерти человека. Полицейский, не задумываясь, снова с уверенностью указал на Яновицкого. За поздним временем председатель предложил об'явить перерыв до утра. Тогда встал Грузенберг и просил разрешить ему задать еще несколько вопросов свидетелю, так как он не хочет оставлять суд под впечатлением происшедшего. Допрос свидетеля продолжался два часа, показав во всей силе талант Оск. Осиповича. Его вопросы сыпались один за другим и обнаруживали знание дела до мелочей, знание расположения квартиры, дома, лестницы, обстановки, мебели и даже расположения ламп. Грузенберг обнаружил точное знание физических законов падения и отражения света. Он доказал, что с того места, где стоял свидетель, он не мог видеть стрелявшего и что во всяком случае таковым не мог быть Яновицкий. На другой день к вечеру всем подсудимым был вынесен оправдательный приговор. За этот процесс Грузенберг получил гонорар в размере... букета роз, и делегация от студентов и профессоров Технологического Института пришла его благодарить.

Так же безвозмездно выступал Грузенберг защитником

на процессах писателей и редакторов. По делам редакторов «Речи»—Милюкова, Гессена, Набокова—и «Русского Богатства»,—Пешехонова, Мякотина, Анненского, — гонорар был известен заранее: после суда Грузенберга угощали завтраком в ресторане Палкина.

По поводу гонораров случались курьезы. Присяжного поверенного М. С. Маргулиеса, редактировавшего в 1905-1906 г.г. газету «Радикал», привлекли к суду, а газету закрыли. В Особом Присутствии Судебной Палаты его защищал бывший товарищ председателя Совета присяжных поверенных, Базунов: Маргулиеса приговорили к восьми месяцам тюремного заключения. Тогда Маргулиес пришел к Грузенбергу: «Мы с Базуновым ломаем голову, как составить кассационную жалобу, не можем найти повода — у вас всегда найдутся». — Грузенберг составил кассационную жалобу и по просьбе Маргулиеса, выступил в Сенате ее поддерживать. Сенаторы совещались долго и Маргулиес уговорил Грузенберга, не дожидаясь, ехать домой, обещав сообщить ему резолюцию. Часа через два Маргулиес явился к Грузенбергу, торжествующий, с огромным букетом роз и сообщил, что Сенат не только отменил приговор, но и прекратил все дело за отсутствием состава преступления. Поблагодарив Грузенберга, Маргулиес попросил назначить гонорар. Грузенберг заявил, что о гонораре надо условливаться заранее, а не после дела, и что с коллег он гонораров не берет. Маргулиес настаивал, ссылаясь на то, что знает, сколько нервов тратит защитник: он убеждал Грузенберга принять гонорар, так как был прекрасно поставлен, имел богатую клиентуру и мог без затруднений заплатить. После долгих настояний Маргулиеса, Грузенберг, наконец, сказал: «Вы хотите, чтобы я определил гонорар. Извольте. Когда вы будете в обществе, за обедом или после, и меня будут ругать, то вы ругайте меня не громче других. Но такого гонорара вы наверное мне не заплатите».

Отказываясь от гонорара по делам об идейных правонарушениях, Грузенберг иначе относился к уголовным делам материального характера.

Торговец Ковенской губернии был осужден на несколько лет арестантских отделений за поджог своего дома и склада, с целью получения страховой премии. Приехала к Грузенбергу местная делегация с просьбою защитить невинно осужденного и выступить в Сенате: весь город, по их словам, готов был все отдать, лишь бы не засудили неповинного человека. Ознакомившись с делом, Грузенберг согласился выступить и назначил пятьсот рублей гонорара. Делегаты возмутились, сделав вид, будто поражены размером этой цифры. Тогда Грузенберг взял чистый лист бумаги и написал на нем: «Для такого-то на приискание ему защитника пожертвовано Грузенбергом — 25 рублей». Передавая лист, он добавил: — «А теперь вы, господа, уверявшие, будто город готов все отдать для спасения осужденного, пойдите и узнайте, сколько они на самом деле дадут со своей стороны».

Грузенберг редко проигрывал дела. Когда я однажды спросил его, чем об'ясняется постоянный успех его защиты, он отвечал:

— «Я всегда говорю правду: может быть, не всю правду, но все сказанное мною всегда правда. Слушающий меня судья знает, что приводимые мною цитаты из текста законов или из сенатской практики всегда верны и точны, и ему нет надобности их проверять. А засим, прежде чем принять дело, я заранее убеждаюсь в невиновности того, кого буду защищать».

Но когда я спросил, не случалось ли ему, будучи убежденным в невиновности привлеченного, затем, во время защиты или после суда, убеждаться в своей ошибке и в действительной виновности обвиняемого, — Грузенберг в ответ рассказал мне поразивший его случай.

Несколько грузин революционеров в Эривани обвинялись в том, что застрелили местного уездного начальника. Родная сестра О. О., бывшая замужем за местным врачом, просила принять защиту привлеченных. Ознакомившись с делом, Грузенберг убедился в неправильности обвинения и согласился принять защиту. Процесс длился несколько дней. На скамье

подсудимых было около тридцати грузин. Все подсудимые были оправданы. Оправданные подсудимые, совместно с другими жителями города, решили чествовать Грузенберга. По местному обычаю его несли на руках по улицам, с зажженными факелами и музыкой. И вот, во время этого шествия один из оправданных, вплотную подойдя к Грузенбергу, шепнул ему на ухо: — «А ведь это я пристрелил начальника». Это нежданное признание отравило Грузенбергу все дальнейшее пребывание и он поторопился из Эривани уехать.

К Грузенбергу часто обращались в трагические минуты, когда в первых инстанциях дело было проиграно другими адвокатами, даже корифеями адвокатуры. Известный профессор Бодуэн де-Куртене, несмотря на блестящую защиту знаменитого адвоката С. А. Андреевского, был приговорен Спб. Палатой к восьми месяцам тюрьмы за одну из своих статей. Тогда делегация Историко-Филологического факультета Спб. Университета во главе с деканом пришла просить Грузенберга принять защиту де-Куртене в Сенате. Грузенберг добился отмены приговора, а затем полного оправдания. Профессоров М. М. Ковалевского и И. И. Иванюкова за статью в газете «Страна» приговорили к двухмесячному тюремному заключению, несмотря на защиту профессора уголовного права Чубинского. Но когда дело перешло в высшую судебную инстанцию, защитником выступил Грузенберг и добился полного оправдания обоих обвиняемых.

Добросовестность его при изучении дела была изумительной. Защищая в Тифлисе податного инспектора Романовского, обвиняемого в убийстве жены, Грузенберг в течение нескольких месяцев, под руководством врача, изучает строение сердца, читает медицинские учебники. На суде при допросе врачей-экспертов и при исследовании характера раны, нанесенной в сердце, Грузенберг поражает своими познаниями в этой области.

По делу о злоупотреблениях в Спб. Коммерческом ссудном банке, в котором должны были рассматриваться подлоги при составлении балансов, Грузенберг настолько изучил бух-

галтерию, что мог на суде изумить опытных профессионалов-бухгалтеров. К выступлениям Грузенберга готовился не только он сам, готовились и его противники и даже судьи. Как рассказывал мне секретарь судебной палаты, председатель Крашенинников часто говорил ему: — «Пришлите мне дело на дом, надо тщательнее подготовиться, так как выступает Грузенберг».

По делу о злоупотреблениях в компании «Надежда», Грузенберг защищал главного подсудимого. Гражданскими истцами выступали профессор уголовного права Владимиров и член первой Государственной Думы Кедрин. Они упрекали защиту в том, что она оставила без ответа выдвинутые в речах истцов обвинения и приписывали это недостаточной подготовленности защитников к делу. Помню, как взволнованно ответил им Грузенберг: «Не вам, гражданским истцам, упрекать нас в незнании дела. Не вам, приехавшим сюда только для защиты рублей, укорять нас. Мы, защитники, идя на дело, знаем его лучше вас, гражданских истцов. Ибо мы знаем, какую приняли на себя серьезную задачу. Мы защищаем честь, доброе имя и свободу. Если мы не отвечаем на выдвинутые вами вопросы, то не по незнанию дела, а потому что вопросы эти несущественны и не стоят внимания: мы не смеем ради них отнимать время у суда. Судебные прения имеют свои пределы: на языке юристов это называется судебным состязанием. Но если выходить за пределы и не щадить сил судей: это будет уже не состязание, а истязание... судей. Но мы не забываем ничего, что существенно для дела, ибо мы не заняты, подобно вам, отстаиванием денег. Мы ни минуты не забываем, что за нашими спинами стоят такие же живые люди, как мы, — и разница между нами лишь та, что у них сердце бьется сильнее, чем у нас с вами».

Таким вспоминается мне Грузенберг всюду, где он выступал.

О Грузенберге ходили всевозможные анекдоты и легенды — по большей части совершенно ложные. О больших людях всегда бывают слухи и пересуды.

После от'езда заграницу я встречался с ним в Берлине, потом в Ницце. Если в Ницце я долго не приходил к нему, то получал записку: «Повестка. Судебный следователь по особо пустяшным делам вызывает Вас к такому-то часу в его камеру, помещающуюся там-то». Когда я приходил к нему, беседа тянулась часами. Он говорил о литературе, о писателях, об общественных деятелях, которых знал, о былых процессах, о суде, сравнивал русский суд с европейским. Говорил о политике, о России. Предавался воспоминаниям. Речь по-прежнему лилась красиво и увлекательно. Трудно было уйти: он продолжал говорить и хотелось еще и еще его слушать. Не было возможности не только возразить ему, но даже вставить свое замечание. Меня однажды спросили в Париже, видал ли я в Ницце Грузенберга и как он поживает. Я ответил, что видал его часто, очень часто, и подолгу, но не имел возможности сказать даже три слова: «как ваше здоровье».

В этой книге помещен портрет Грузенберга с его внучкой, которую он беззаветно любил. Он часто говорил о ней: «это наше солнышко, наша радость». Когда у него приходилось бывать, он каждые четверть часа входил в комнату внучки посмотреть, что она делает. Ежедневно он ходил с нею гулять.

Последние свои годы в изгнании Грузенберг жадно читал все, что ему попадалось. Много писал, потом исправлял написанное, а иногда рвал рукопись. Перед изданием своей книги «Вчера» он часто повторял: — «К чему ее издавать? Кого она может интересовать? А помимо того, на нее надо потратить деньги, а могу ли я рискнуть теми немногими сбережениями, которые у меня остались». Вероятно «Вчера» никогда не увидало бы света, если бы на помощь не пришел его любимый друг И. А. Найдич. Когда Грузенберг, больной, перенесший операцию, оторванный от близких, переживал минуты тяжкого пессимизма, И. А. Найдич, узнав об его состоянии, приехал к нему и провел с ним несколько дней, чтобы ободрить его и влить в него новые силы. Он уговорил Грузенберга напечатать «Вчера», взял рукопись и сказал, что снимает с него все материальные заботы об издании. Книга появилась в печати и

втечение нескольких месяцев была распродана без остатка. Грузенберг говорил, что не только окупились все расходы по изданию, но еще осталось для него около двадцати тысяч франков чистого дохода.

Время шло. Болезнь усиливалась, но Грузенберг не сдавался, как старый лев. Трудно было двигаться. Больные ноги, больное сердце, больная печень, застарелый плеврит, заставлявший опасаться малейшего ветерка. Он сидел в комнате с закрытыми наглухо окнами и дверями. Мучила его постоянная бессонница. Но голова оставалась ясной, мысли свежими и острыми, красноречие по-прежнему блестящим. И как прежде, он ни пред кем не хотел гнуть головы. Когда было нужно, он еще умел дать кому следует надлежащую реплику.

Я видел Грузенберга в последний раз в начале войны (в конце мая 1940 года). Прощаясь, он мне сказал: — «Мы больше не увидимся. Жизнь кончена. Я сознаю отчетливо, что вряд ли проживу больше года».

С ним сошел в могилу русский патриот, любивший Россию, русский народ и русскую культуру. Ушел человек кристальной честности и чистоты, человек безупречно твердых убеждений, человек с добрым и нежным сердцем.

Ушел крупнейший адвокат-криминалист, блестящий оратор, добросовестный труженник. Ушел человек высокой морали и исключительного благородства. Он ушел, но память о нем всегда будет жить на его родине и среди ее лучших друзей.

А. Я. Столкинд.

О. О. ГРУЗЕНБЕРГ И РУССКОЕ ЕВРЕЙСТВО

1. Детские и юные годы.

Детские годы О. О. Грузенберга — в конце 70-х годов минувшего столетия — прошли в самое лучшее для русского еврейства время. Реформы Александра II и подготовка к уравнению евреев в гражданских правах способствовали большему сближению еврейской интеллигенции с русской. Началось «обрусение» русского еврейства. Величайший тогдашний еврейский поэт Л. Гордон в своем обращении к еврейскому народу сказал:

«Эта райская страна
Тебе открывается,
Ее дети зовут тебя братьями».

Грузенберг пишет о своих детских годах: «Первое слово, которое дошло до моего сознания, было русское. Песни, сказки, сверстники детских игр — все русские».

К сожалению, эти радужные надежды русского еврейства быстро испарились. С восшествием на престол Александра III, в 1881 году, начались опять гонения и ограничения еврейских прав, и это реакционное течение усиливалось со дня на день.

Грузенбергу с детства пришлось встретиться с вопиющим еврейским бесправием. Семья его — мать с детьми — переехала на жительство в Киев, где дети посещали учебные заведения. Город Киев, благодаря ухищрениям царского правительства, был вырван из «черты оседлости»: Киевская губерния считалась в «черте», сам же город Киев оказался вне «черты». Облавы киевские, ставшие почти обыденным явлением, описаны в еврейской литературе, как самые бесчеловечные.

Во время одной из таких облав, в 1886 году, полиция

нагрянула на квартиру Грузенбергов, проверила документы и нашла, что при детях, которые имеют право жительства в Киеве, как учащиеся, находится бесправная старуха-мать. Ее арестовали и отправили в участок, где она провела несколько дней. Эта жестокость произвела самое сильное впечатление на молодого Грузенберга. «Как,—спрашивал он себя,—неужели можно лишить мать права проживания при детях? По всем законам дети не только имеют право держать при себе мать, но даже обязаны заботиться о ней».

Это вопиющее проявление бесправия так подействовало на Грузенберга, — как он пишет в I т. своей книги «Вчера», — что он решил отдать свою жизнь на борьбу с этим злом.

Второй случай, приведший Грузенберга к сближению с еврейской нуждой и горем, имел место, когда ему пришлось прожить несколько месяцев в еврейском местечке («Вчера»). В этом местечке Грузенберг увидел всю жалкую нужду еврейского населения. Он делится с читателем своими переживаниями того, что он сам называет «своим двоеверием»: не то русский, не то еврей. Он описывает расправы полиции на базаре с еврейскими торговцами и делает вывод: «Даже если тебе с детства ближе русская стихия, то разве ты не знаешь, что людям, распявшим Христа, ненавидящим будто бы народ, среди которого они живут, — редко кто-нибудь из не-евреев пожелает помочь». Дальше он пишет: «Неужели ты отвернешься от своего народа, дабы не оскоромиться национализмом? Разве ты забыл зов пророка: Если ты не за себя, то кто-же?».

Этому зову Грузенберг был верен всю свою жизнь в мыслях, делах и публичных выступлениях. Он не боялся упреков в национализме и первый пришел на помощь еврейскому национальному движению, в то время, когда большинство еврейской интеллигенции еще считало это проявлением ретроградства.

Красной нитью проходит через всю его жизнь эта основная мысль: «Сами за себя мы должны стоять, не ожидая помощи от других».

2. Переезд в Петербург и процесс Блондеса.

В 1889 году Грузенберг кончил юридический факультет Киевского Университета. В виду его выдающихся способностей, профессора решили оставить его при университете, но с одним условием: чтобы он переменил религию. Грузенберг, конечно, с негодованием отверг это предложение и решил переехать в Петербург.

Петербург в те годы был центром русско-еврейской общественности. Это были годы русской реакции, когда еврейские общественные деятели в Петербурге были подавлены регулярно выходившими новыми законами, лишавшими евреев всех человеческих прав, и особенно повторявшимися каждые несколько лет волнами погромов. Необходимость защиты евреев на всех процессах о погромах стала вопросом дня. Но кто должен защищать евреев в этих процессах? Тогда господствовал взгляд, что лишь адвокаты не-евреи должны защищать еврейские интересы в погромных делах. Единственный, который тогда восстал против этого взгляда, был О. О. Грузенберг. Разве надо передать защиту наших дел чужим? — восклицал О. О. Разве мы сами не защитим себя?

Грузенберг начал с выступления в Сенате по делу о минском погроме. Потом он выступил в Оршанском процессе. На большой высоте, как защитник еврейства О. О. оказался уже в деле Блондеса. В 1900 году, благодаря проискам реакции, как русской, так и польской, был создан в Вильне ритуальный процесс. Обвинялся еврей Давид Блондес, содержатель парикмахерской, в том, что он ранил свою служанку-христианку с намерением выцедить ее кровь для надобности еврейской пасхальной мацы. Судил его виленский окружной суд. Присяжные заседатели вынесли Блондесу обвинительный приговор, но дали ему сравнительно легкое наказание: его приговорили на год и четыре месяца арестантских рот.

Еврейские общественные деятели в Вильне решили, что не

следует обжаловать этот приговор, так как пересмотр дела может кончиться более суровым приговором для Блондеса. С этим мнением согласился даже известный присяжный поверенный Спасович. Единственный, который протестовал, был Грузенберг, мотивируя свое мнение тем, что нельзя оставить такое пятно на еврействе, не испробовав всех способов борьбы. Правда, второй разбор дела может угрожать более суровым наказанием Блондесу, но с этим нельзя считаться, так как здесь поставлена на карту честь еврейства.

Грузенберг подал кассационную жалобу. Сенат кассировал первый приговор и передал дело на новое рассмотрение, при котором Блондес был оправдан. Таким образом Грузенберг снял пятно, которое могло в будущем послужить опасным прецедентом в деле Бейлиса.

3. Кишиневский погром и дело Дашевского.

Волна погромов не унимается, наоборот, — усиливается все больше и больше. Самым зверским погромом того времени был Кишиневский, результатом которого было много человеческих жертв. Однако, русское еврейство не только не падало духом во время этих гонений, но наоборот, — окрепло, организовав свою собственную оборону («еврейская самооборона»). В ней участвовали как сионисты, так и представители «Бунда».

Грузенберг, описывая ужасы Кишинева и все, что там произошло в эти страшные дни, пишет: «Я возненавидел самого себя и моих товарищей по работе за то, что мы пришли на позорище, на пепелище, на кладбище — с хлыстиком юридической помощи. Неужели не найдется тот, который отомстил бы вдохновителям этого ужасного погрома?»

И такой мститель нашелся: это был студент Пинхос Дашевский.

Дашевский, киевский студент, уехал в Петербург с намерением отомстить Крушевану (вдохновителю Кишиневского погрома). На Невском проспекте Дашевский встретил Кру-

шевана и бросился на него с ножом. Он нанес ему рану. Хотя рана была легкая, Дашевский все-таки был присужден к пяти годам арестантских рот, с лишением прав, потому что на предварительном следствии он заявил, что хотел убить Крушевана, чтобы отомстить за Кишиневскую бойню.

О процессе Дашевского Грузенберг пишет: «С болью я отклонил приглашение Дашевского стать его защитником. Петербургские еврейские деятели решили, что его должен защищать непременно христианин. Они полагали, что можно будет спасти подсудимого, запрятав далеко от взоров судей вопрос о национальном достоинстве и национальной обиде. Они бессознательно превратили жертву в палача, лишили закиданное грязью русское еврейство одного из его бесспорных героев. У детей народа, лишенного всех человеческих прав, не может быть отнято никакими законами право умирать с достоинством».

Но если Грузенберг не мог выступить на суде защитником Дашевского, то он защищал его дело в Сенате*), а затем сделал все, что от него зависело, чтобы смягчить приговор. В конце концов Дашевский был освобожден, а в результате дальнейших хлопот Грузенберга, Дашевский был даже восстановлен в правах.

В очерке Грузенберга о Дашевском он говорит, что «среди моих подзащитных Дашевский любимейший из любимых. Он — мой Веньямин». Если Грузенберг всегда отдавал своим подзащитным много любви и заботы, то Дашевскому он отдал бесконечно больше, ибо здесь он чувствовал, что этот юноша рисковал жизнью за честь еврейского народа. А это гармонировало с лозунгом жизни самого Грузенберга.

4. Сионистские процессы.

В первые годы появления сионизма, с 1897-го по 1903 г., сионисты в России не подвергались преследованиям, так как сионистское движение не касалось русской внутренней поли-

---

*) Речь Грузенберга в Сенате по делу Дашевского напечатана в этой книге.

тики, а лишь искало убежища для евреев в других странах. Ясно, однако, что сионизм, хотя и ставил своей конечной целью создание еврейского государства в Палестине, не мог не считаться с бесправием евреев в России. Поэтому сионистская молодежь стала принимать участие во всех кружках самообороны и в борьбе с русским самодержавием, которое было источником всех гонений и преследований евреев. Тогда (в 1903 году) был издан приказ Плеве, что сионизм является «противоправительственным течением», так как «сионизм отклонился от первоначальной цели переселения евреев и Палестину, а направляет своих адептов для борьбы с внутренним режимом России». Начался ряд процессов против сионистов — против членов Центрального Сионистского Комитета в Вильне, против редактора «Рассвета» А. Д. Идельсона, а также против сионистов в других городах Российской империи. Защитой в этих делах руководил О. О. Грузенберг, и благодаря его талантливой защите процессы обычно кончались легкими наказаниями, — несколькими неделями ареста.

Близость Грузенберг к сионизму и его симпатии к нему, как к освободительному еврейскому движению, возникла уже с первых лет появления сионизма. Он не был партийным сионистом, по той же причине, по которой никогда не был партийным деятелем в русских политических движениях: по своему характеру он не мог подчиняться партийной дисциплине. Близость Грузенберга к сионизму я об'ясняю тем, что основа сионистской идеи, выраженная в брошюре Пинскера «Автоэмансипация» с известным мотто: «Если не я за себя, то кто же» — была также основой мировоззрения Грузенберга по еврейскому вопросу.

Еврейская молодежь, которая жертвует своей жизнью для будущности своего народа, была для О. О. воплощением нашей народной чести. Это тот «Кидуш Гашем», которым славилась вся еврейская история. Неоднократно он мне повторял в личных беседах, что видя жертвенность нашей молодежи он верит, что мы можем достигнуть идеала, который поставил сионизму Герцль.

И потому Грузенберг уже в начале 1900-ых г.г. откликнулся так тепло и душевно на зов сионистов участвовать в возбужденных против них процессах.

5. Процесс Бейлиса.

В 1911 году царское правительство решило создать новый «ритуальный» процесс с обвинением евреев в употреблении христианской крови, чтобы выставить евреев как изуверов и тем оправдать все гонения на них.

Об'ектом для этого ритуального процесса был избран киевский еврей Мендель Бейлис. Его обвиняли в убийстве христианского мальчика Ющинского для извлечения его крови. Два года этот процесс подготовлялся. Тщательно были подготовлены «научные» эксперты. Состав присяжных заседателей был подобран: были взяты люди, которые могли бы легко поверить кровавому навету.

Грузенберг был главным защитником Бейлиса. Два года он метался из Петербурга в Киев, из Киева в Петербург, изучая все детали дела с тщательностью, свойственною Грузенбергу. В эти годы он не жил, а горел.

В сентябре и октябре 1913 года состоялось разбирательство дела. Еврейство никогда не забудет блестящей защиты Грузенбергом достоинства и чести еврейского народа в этом процессе. Извлечения из его речи в защиту Бейлиса напечатаны в этой книге. Привожу здесь только два отрывка:

«...Здесь, на суде, обратили Иегову в какого-то киевского еврея, на которого идут с облавой. Но еврейская религия — это старая наковальня, о которую разбилось много тяжелых молотов врагов...».

Обращаясь в заключение своей речи к Бейлису, Грузенберг сказал:

«Едва минуло двести лет, как наши предки по таким же обвинениям гибли на кострах. Безропотно, с молитвой на устах, шли они на неправую казнь.

Чем вы, Бейлис, лучше их? Так же должны пойти и вы...

Чаще повторяйте слова отходной молитвы: «Слушай, Израиль!, я — Господь Бог твой — единый для всех Бог!»

Эта защитительная речь Грузенберга разнеслась по всему миру. Каждый еврей с гордостью почувствовал в ней величие «Нецах Исроэль» («вечного Израиля»). Грузенберг стал для всего еврейского народа величайшим защитником еврейства, его достоинства и чести.

Бейлис был оправдан. После процесса Бейлиса, в ознаменование великой заслуги Грузенберга, первый еврейский свободный город в Палестине, Тель-Авив, назвал улицу именем О. О. Грузенберга. Этой чести удостоились, при жизни, лишь немногие: Ахад Гаам, Бялик и некоторые другие.

6. Первая мировая война и процессы о шпионаже.

В первый месяц разразившейся мировой войны, в августе 1914 года, царское правительство призвало русских евреев, наряду с другими народами России, стать на защиту отечества.

Евреи откликнулись на этот зов, и много волонтеров вступило в армию. Но когда впоследствии, после неудач на фронте, начали искать виновника этих неудач, то нашли, что виноваты евреи, что они предатели и шпионы. Особенно усердствовал в распространении этого навета начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Янушкевич. Издавались приказы о выселении всех евреев из западных губерний во внутренние. Сотни тысяч евреев высылались в течение 24 часов. К чести русского еврейства нужно сказать, что оно прекрасно организовалось для оказания помощи в этой беде. Было устроено добровольное обложение всех евреев, и таким образом собрали десятки миллионов рублей для выселенных. Тысячи еврейских молодых людей пошли в добровольческие отряды для сопровождения беженцев и устройства их на новых местах.

В то же время, в прифронтовой полосе командующие армией устраивали процессы против отдельных евреев и еврейских общин, обвиняя их в сношениях с немцами, в сигнализа-

ции врагу и т. д. Явился вопрос, как бороться с этим страшным наветом. Это было тем более трудно, что суды были, большей частью, военно-полевые, без участия защитников.

Эту тяжелую проблему опять разрешил Грузенберг. Он взял на себя руководство защитой в делах о мнимом шпионаже. И как всегда он отдал этой задаче весь свой талант, все свое святое беспокойство. Только тот, кто стоял близко к этой страшной, мученической работе Грузенберга, мог иметь понятие о том, что значит самопожертвование.

Грузенберг метался от Главных военных прокуроров в штабы армий, ища где только возможно было найти защиту, не щадя себя, ни своих сил, ни здоровья.

В деле мельника Чеховского, который был обвинен в том, что со своей мельницы будто бы сигнализировал немцам, Грузенбергу удалось доказать невинность Чеховского, и военный суд в Вильне его оправдал. В деле портного Гольцмана, который тоже был обвинен в сигнализации врагу и был присужден к смертной казни, Грузенбергу удалось смягчить наказание. Состояние здоровья Грузенберга было такое, что даже генерал Шаров, пред которым он хлопотал в Пскове о Гольцмане, обратил на это внимание и сказал ему: «Все это хорошо, но на вас лица нет, поехали бы с первым поездом обратно». Но Грузенберг остался еще несколько часов в Пскове, пока он не увидал всех, кого считал нужным видеть.

Трудно мне в этом очерке перечислить все военные процессы, в которых Грузенберг выступал, защищая обвиненных евреев от этого нового навета. Советую читателю прочесть очерк Грузенберга «Бред войны» в I т. книги «Вчера». Там читатель увидит, как жил и работал Грузенберг в эти страшные годы. Здесь я хочу остановиться на Мариампольском процессе. В сентябре 1914 года военные власти устроили суд над Мариампольским евреем Гершоновичем, который будто бы по приходе немцев был назначен бургомистром города и устроил собрание в синагоге, убеждая евреев доставлять немцам фураж и лошадей. Таким образом обвинение в измене было пред'яв-

лено не только Гершоновичу, но и всему Мариампольскому еврейству.

Гершонович был присужден к каторжным работам на восемь лет. После этого приговора антисемитская пресса подняла шум о «мариампольской еврейской измене». Грузенберг в течение целого года работал над собиранием материалов по этому делу, над новыми фактами. Затем он подал ходатайство о пересмотре дела в главный военный суд.

Для самого Гершоновича можно было получить облегчение наказания, или помилование. Но дело было не в Гершоновиче. Ведь пятно измены могло остаться на всем Мариампольском еврействе. Этого пятна, сказал Грузенберг, никак оставить нельзя. 28 июля 1916 года ходатайство Грузенберга о пересмотре дела разбиралось в главном военном суде. Цитирую небольшой отрывок из речи Грузенберга по этому делу:

«Рядом с польским народом на этой же земле живет и другой народ, родной мне по крови. Он тоже отдал великому общерусскому делу и кровь своей молодежи, и достояние свое. Он стоит теперь на пепелище обескровленный, обнищавший, заклейменный кличкой изменника. Передав дело на новое рассмотрение, вы совершите не милость, а справедливость».

Дело было передано на новое рассмотрение, и вновь разбиралось в Двинске 28 сентября 1916 года. Двинск был тогда осажден со всех сторон. Но Грузенберг получил пропуск в Двинск и поехал туда. Гершоновича оправдали. Грузенберг разсказывает, как выйдя из судейской комнаты председатель суда показал ему вопросный лист. На вопрос: «Доказано ли, что в сентябре 1914 года, по вступлении в Мариамполь германских войск, население города доставляло немцам припасы и лошадей?» — суд ответил отрицательно.

«Меня, — пишет Грузенберг, — охватила радость. Значит, оправдали не только Гершоновича, но и все население».

Радость охватила не только его, но все еврейство, когда оно узнало о результате этого кошмарного процесса.

Мариампольское дело — величайшее достижение Грузенберга как защитника русского еврейства.



7. Грузенберг в эмиграции.

Оторванность от родины, которую он так любил, от русского языка, мастером которого он был, — эмигрантская среда со всеми ее недостатками, мучительно отразились на чуткой душе Оскара Осиповича. Первые годы эмиграции он прожил в Берлине, а с 1926 по 1932 г.г. — в Риге. Судя по его письмам, он все это время принимал живое участие в еврейских общественных делах. Но, конечно, эта работа не могла дать ему удовлетворения.

В начале 1930-х годов состояние здоровья заставляет Грузенберга переехать из Риги на юг Франции, где он оставался до самой смерти. В течение этого периода я часто встречался с О. О., — на юге или во время его частых приездов в Париж. Он всегда был крепко связан думами и мыслями с Россией, но также живо интересовался всем тем, что делается в Палестине. Интересовала его Халуцкая молодежь, которая отдает свою жизнь, в полном смысле слова, за создание очага для угнетенного еврейского народа.

В 1929 году был созван в Цюрихе всемирный конгресс сионистов и сочувствующих для учреждения Еврейского Агентства, предусмотренного английским мандатом по управлению Палестиной. Грузенберг был избран русско-еврейской общиной в Риге делегатом на этот конгресс. Я имел возможность в Цюрихе встречаться с ним ежедневно. Он вырабатывал обширный план будущей работы Агентства, по организации всего еврейства — для подготовки большой, миллионной иммиграции в Палестину в близком будущем. О. О. был избран в Цюрихе в Большой Совет Агентства.

В 1933 году в Германии воцарился Гитлер. Начались средневековые гонения на евреев. Вскоре в Париже был образован Центр. Комитет для помощи беженцам из Германии. Начались политические выступления против гитлеровской Германии, с митингами протестов, с резолюциями. Как раз в это время Грузенберг приехал в Париж. Взволнованный страшной

бедой, свалившейся на наш народ, он мне сказал: «Дрогнул под ногами мир, а мы что делаем—то же самое, что когда-то после Кишиневского погрома: собираем деньги и пишем резолюции протеста. Резолюциями хотим устрашить разбойников! Нужно противопоставить силу, настоящую организованную всемирную силу для борьбы с этими ордами. Нужно поднять весь живой мир для этой великой борьбы. Нужно доказать миру, что евреи для Гитлера это лишь первый шаг разбойничества, что потом он пойдет громить весь мир. Особенно мы должны пропагандировать это в Америке». Грузенберг сказал, что он сам готов поехать в Америку, если для этой цели будет составлена делегация. Однако, мысль о такой делегации не встретила тогда сочувствия в еврейских общественных кругах Парижа.

Грузенберг вернулся в Ниццу. Часто он со мной делился в письмах мыслями по поводу событий. К сожалению, мне приходится восстанавливать эти письма по памяти, так как я не имею при себе своего архива*).

Грузенберг писал мне: «Гитлер начал с уничтожения евреев, а теперь он проглатывает одну страну за другой. Между тем, великие державы молчат. Они стоят с поникшей головой, со смирением... Ждут: может быть, грабитель насытится и скажет — довольно! Они как будто не понимают, что грабители никогда не удовлетворятся, пока не поработят весь мир. Ждут — пока будет поздно, и для уничтожения врага потребуются реки крови».

В другом письме он пишет: «Трусость обуяла весь мир, позорная, рабская трусость. Дают расправляться Гитлеру, как он хочет и с кем он хочет. Страшно жить в этом мире трусости и позора».

Наконец великие державы решились положить предел натиску Гитлера. Разразилась вторая всемирная война. В 1939

---

*) Отклики Грузенберга на события последних лет имеются также в его письмах 1938—1940 г.г. к А. А. Гольденвейзеру, выдержки из которых напечатаны в этой книге.

году Грузенберг пишет: «Как ни страшна война с гибелью миллионов людей, это все-таки лучше, чем вечное рабство под ярмом разбойников. Верю в счастливый исход войны. Верю, что борьба кончится восстановлением свободы в мире для всех народов и для всего человечества».

Не суждено было Грузенбергу дожить до этого счастливого дня. Подточенные тяжелою болезнью и мучительными переживаниями, силы его иссякли, и в ноябре 1940 года Грузенберг скончался.

В 1924 году, посетивши Тель Авив, я проходил по улице, названной именем Грузенберга. Я остановил встречного юного еврея и спросил его: кто был этот знаменитый еврей, именем которого названа эта улица? Ответ был дан немедленно: «Он был великим защитником еврейства».

Под этим именем знало его еврейство нашего времени. И под этим именем он войдет в историю вечного народа.

И. А. Найдич.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ О. О. ГРУЗЕНБЕРГА

Раннею весною 1866 года в городе Екатеринославе, нынешнем Днепропетровске, в семье 2-й гильдии купца Осипа Грузенберга, богатой больше численностью, нежели материальным достатком, происходило скромное семейное торжество: праздновали рождение очередного мальчика.

По отцовской линии новорожденный был внуком духовного раввина, и присутствие последнего всегда придавало этого рода празднованиям оттенок торжественности. Сословие духовных раввинов во все времена пользовалось у евреев, как известно, уважением и почетом. Имя Грузенберга-деда было хорошо известно далеко во всей округе. Но Грузенбергу-внуку суждено было стать членом и украшением другого сословия, — сословия российской адвокатуры, «великой, непобедимой громады», как он сам потом назвал его: «боевой силы, которая творила и творит нашу адвокатскую историю и самую жизнь». Ему суждено было прославить семейное имя Грузенбергов далеко за пределами екатеринославской округи, едва ли не на целый мир.

«Первое слово, которое дошло до моего сознания, было русское, — пишет в отрывке своих воспоминаний Грузенберг. — Песни, сказки няни, сверстники детских игр—русские. Я полюбил этот удивительный язык и с 4-го класса гимназии занимался им—в особенности народным творчеством—былинами, сказками, песнями, — с любовью и настойчивостью»...

Но не один только русский язык и русскую словесность любил со страстью, свойственной его боевому темпераменту, этот «русский еврей»: он любил пламенно и «почти болезненно», как он сам сознается, — Россию, ее быт, ее культуру, ее народ, хотя и умел, конечно, столь же пламенно и ненавидеть все, что было в русской жизни его эпохи ненавистного.

С теплым, не остывшим от времени чувством описывает он свои гимназические годы, несмотря на то, что как еврей он даже не мог попасть в гимназию родного города, и родители вынуждены были увезти мальчика в одну из киевских гимназий.

Неожиданная смерть отца, скончавшегося в 1879 году от ядовитого укуса насекомого, помимо горя, вносит в семью и жестокие материальные осложнения. На 14-м году Грузенбергу приходится искать заработка — и юный ученик делается сам преподавателем наук, натаскивая товарищей по предметам не дававшегося им курса — главным образом, по словесности и литературе.

В 1884 году, незадолго до выпускных экзаменов, юноша Грузенберг сближается с молодым киевским адвокатом, начинавшим свою карьеру уголовного защитника. Он подолгу просиживает на местах для публики, внимая разворачивающимся в залах суда жизненным драмам, прислушиваясь к прениям сторон и, вероятно, уже мечтая о своей роли в грядущих схватках с неумолимым прокурором или зарвавшимся председателем. Ибо вопрос о выборе факультета и профессии был уже тогда решен.

Любимым поэтом юноши, после Пушкина, был Некрасов, но вскоре судьба свела его и с живым поэтом. Это был С. Я. Надсон, больной тяжким недугом (чахоткой) и доживавший свою короткую жизнь в Боярке, под Киевом. Преклонение перед поэтом, бывшим в большом почете у тогдашней молодежи, быстро перешло в личную дружбу. Для поддержания жизни угасавшего поэта приходилось устраивать благотворительные вечера и собирать средства по подписным листам. Дружная тройка, взявшая на себя эту задачу, состояла из самого Грузенберга, его невесты, Розы Гавриловны Голосовкер, и М. В. Ватсон, подруги поэта и переводчицы его стихов на испанский язык.

Смерть Надсона была большим горем для всей тройки, но молодость и жизнь берут свое.

Раннею весною 1887 года «подкрадывающееся счастье»

воплотилось для обоих Грузенбергов в крепкий, по истине нерушимый брачный союз. Вместе выдержали они целый ряд тяжелых ударов судьбы, которая уже к концу первого года их семейной жизни как будто поторопилась послать им тяжелое испытание: смерть первенца. За этим неожиданным и жестоким ударом судьбы последовали потом на продолжении долгих лет и другие удары, но союз двух сердец и душ представлял собою на протяжении всей, более чем пол-века длившейся совместной их жизни пример редкой гармонии и постоянства.

В 1889 году О. О. сдал государственный экзамен и получил предложение остаться при университете для подготовки к ученой степени, — при условии перемены религии. Но он отказался «купить входной билет в историю ценою ренегатства». Осенью того же года, «нагруженный не столько багажом, сколько рекомендациями», он двинулся с берегов Днепра к туманным берегам Невы на завоевание «своей тропинки», долженствовавшей вывести его на широкую жизненную дорогу.

Незадолго до переезда О. О. Грузенберга в столицу, опубликован был закон, предписывавший адвокатским Советам представлять очередные списки подлежащих выходу в присяжные поверенные евреев на утверждение министра юстиции. Но никому тогда не могло прийти в голову, что записавшись помощником к П. Г. Миронову, Грузенберг пробудет в этом неполноправном звании 16 лет, и что только революция 1905 года даст ему возможность выйти в присяжные поверенные.

Одним из первых, обративших внимание на молодого адвоката, речи которого полны не только гневной силой убеждения, но и подлинного, всестороннего знания всех деталей дела и всех относящихся к нему правовых норм, — был А. Я. Пассовер. По его рекомендации, Грузенберг выступает защитником в громком процессе Шполянского, разбиравшемся в севастопольском морском суде. Эта защита сразу выдвигает и материально надолго обеспечивает молодого стажьера.

Кроме А. Я. Пассовера и патрона П. Г. Миронова, молодому «помощнику» протежировал знаменитый криминалист,

профессор уголовного права Н. С. Таганцев, а также тов. предс. петербургского окружного суда Д. Ф. Гельшерт. «Не будь их поддержки», — признается Грузенберг, — «я был бы вынужден бросить адвокатуру: нечем было бы кормить нашу большую семью». И тут у него срывается еще одно, чрезвычайно характерное признание. «Доброе их ко мне отношение было тем более трогательно, что по своему темпераменту, боевому характеру и неумению (скорее нежеланию) сглаживать острые углы, я нередко бывал несносен».

Действительно, прямота, не терпящая лжи и лицемерия, не допускающая ни малейшего уклонения от истины, не считающаяся с чужим самолюбием и нередко связанная с излишней резкостью, — эта прямота свойственна была О. О. Грузенбергу не только на суде, но и в частной жизни. Она-то главным образом, и создавала ему недоброжелателей...

Но, — как говорит В. Л. Бурцев о Салтыкове-Щедрине, — «под маскою суровой внешности и кажущейся резкости в обращении скрывалась, как это бывает часто, добрая душа, и постоянная ворчливость и вспышки гнева, иногда совершенно безудержного и необ'яснимого, не мешали тому, что он был по настоящему добрый человек, всегда готовый помочь нуждающемуся и словом и делом, человек мягкого, даже нежного сердца, неспособный к безучастности и отказу в помощи».

Мне, знавшему О. О. Грузенберга и как долголетнего патрона и как старшего товарища и друга, не прерывавшему общения с ним с расцвета его адвокатской славы в Петербурге и до самой кончины его в Ницце, — хочется по справедливости отнести к нему эту бурцевскую характеристику, не меняя в ней ни единого слова.

«Только те, что сами прошли мучительный путь ежедневной борьбы за право», пишет О. О. в своих воспоминаниях,— «за интересы отдельных людей, кто бился за них в судах, в министерствах и у сильных мира сего, только те знают, чего стоит раздача сердца по кусочкам».

В каждом письме к нему Горького, Пешехонова, Милюкова, Короленко неизменно встречается упоминание об его сер-

дечной доброте или о признательности за то или иное взятое им на себя дело. В каждое такое дело он вкладывал, сверх своих знаний, уменья, таланта и сил, и самое ценное: «кусочек сердца».

Описывая свои «судейские злоключения» в отрывке «Роковых годов», напечатанном в 1939 году в Париже в «Русских Записках», П. Н. Милюков с непритворным чувством благодарности говорит о том «спасительном покрове, который во всех превратностях этого рода распростер» над ним «удивительный человек Оскар Осипович Грузенберг. Чтобы уберечь нас от последствий нашей вольной или невольной неосторожности в обращении с печатным словом, он иногда даже жертвовал ярким выступлением в роли блестящего и сильного судебного оратора и погружался в тайники судебной казуистики, проявляя при этом тонкое понимание людей и глубокое знание самых мелких подробностей закона и судебных решений. С ним даже поражение было не страшно, но большей частью были победы, и благодаря его неусыпным заботам нам удавалось обогнуть много мелей и скал, казавшихся непроходимыми и грозными».

Помимо П. Н. Милюкова, не было в эту бурную эпоху ни одного, кажется, видного писателя, литератора и журналиста, который не обращался бы к О. О. Грузенбергу за помощью. И редко кому он отказывал в ней, несмотря на то, что никогда по делам литературным и общественным не брал гонорара, ни даже покрытия расходов, хотя иногда, — как это было с делом Блондеса, делом о кишиневском погроме и делом Бейлиса, — такие дела длились месяцами и требовали длительного пребывания на местах разбирательства.

О кишиневском процессе нам кажется нелишним напомнить. Это был первый из серии «погромных процессов», на которых виднейшие русские адвокаты, выступавшие в качестве поверенных потерпевших, ставили себе целью разоблачить преступное попустительство властей, благодаря которому только и могли разыгрываться еврейские погромы.

Молодой Грузенберг выступал в этом деле, вместе с Карабчевским, Пергаментом, Зарудным, Ратнером и др. Но его

работа началась еще до начала слушания дела. По его инициативе и под его руководством, в Кишиневе было произведено неофициальное следствие путем допроса сотен свидетелей — очевидцев погрома. Это следствие установило истинную картину погрома, весьма отличную от правительственной версии, преподнесенной затем в обвинительном акте. На самом процессе Грузенберг мастерски допрашивал свидетелей. Допрос главного вдохновителя погрома — местного подрядчика Пронина длился 7 часов. На этом же процессе Грузенберг впервые скрестил оружие со своим будущим противником по делу Бейлиса — маниакальным антисемитом А. С. Шмаковым.

Мне особенно памятен кишиневский процесс, так как здесь мне, ученику одной из бессарабских гимназий, довелось впервые увидеть и услышать моего будущего патрона.

Защита Блондеса (история этого дела рассказана в статье И. А. Найдича) сделала Грузенберга чрезвычайно популярной личностью в Вильне, и он баллотировался в депутаты Государственной Думы от этого города. Однако, эта попытка встретила энергичный отпор со стороны всех реакционных группировок и кончилась неудачей.

Блеск словесного дара Грузенберга, сила его юридической мысли и пафос внутреннего убеждения проявлялся не только на суде в его защитительных речах, но и на докладах, в лекциях, во всех его общественных выступлениях, в статьях, а его книга воспоминаний, написанная уже в эмиграции, обнаружила в нем и подлинный литературный дар.

Читатели найдут ниже несколько образцов его судебного красноречия, — те, к сожалению, немногие его речи, которые сохранились в стенографических отчетах.

Четверть века с 1889-го по 1914-ый год прошли для Грузенберга в беспрерывной работе, зачастую непосильной для человека, смолоду хворавшего болезнью легких, осложненною болезнью печени, в обстановке и условиях, ежеминутно треплющих нервы, «в купаньи в чужих слезах и горе и в беспрерывном экзамене на людях». Все это время до начала войны, Грузенберг состоит руководителем адвокатских уго-

ловных конференций и вместе с В. Д. Набоковым, редактором уголовного отдела «Права», а также сотрудником журналов юридических и общих («Восхода», «Будущности» и др.).

В годы войны деятельность судов по политическим и литературным делам естественно затихает. Но война открывает для Грузенберга-адвоката новое поприще. Начинается полоса шпиономании, завершающейся кровавым разгулом военно-полевой юстиции.

Люди предаются суду для суждения по законам военного времени пачками и в одиночку, а наказание почти всегда по этому суду — смерть, редко — каторга. С мест идут отчаянные телеграммы от адвокатов или родственников, привлеченных к следствию и суду, и снова широко распахиваются двери того кабинета, откуда многие уже привыкли ждать спасения или по крайней мере деятельной помощи в неожиданной беде.

Вспоминается случай присуждения к смертной казни одного инженера. Он был любителем анекдотов, и запись одного из них могла бы стоить ему жизни, если бы не феноменальная память, железное упорство и особое, редкое, чисто грузенберговское сознание ответственности адвоката за жизнь клиента. Это он заставил меня и второго помощника, В. И. Буткова, перерыть столичные библиотеки в поисках печатного текста злополучного анекдота, фактическое существование которого опрокидывало и разрушало все здание обвинения — продукт расстроенного воображения обвинителей. А когда мы, к счастью, нашли этот подлинный текст, то и тут понадобилось его искусство и умение «контрабандой» протащить этот текст в Главном Военном Суде сквозь «кордон формального закона», запрещавшего защитнику касаться в кассационном порядке обстоятельств, относящихся к существу дела. Приговор был отменен, а при вторичном рассмотрении дела злополучный любитель анекдотов был оправдан.

Наступает 1917 год. Одним из первых актов новой власти является отмена всех национальных и вероисповедных ограничений. В дни после опубликования этого акта (21 марта

1917 года) вереницы депутаций от еврейских и других «инородческих» организаций приветствуют Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов. Читатели найдут в этой книге проникнутую глубоким пафосом речь Грузенберга, произнесенную 26 марта в петроградском Совете от имени «Еврейского демократического об'единения».

Декретом министра юстиции А. Ф. Керенского Грузенберг назначается сенатором Уголовного кассационного департамента Правительствующего сената. Он принимает живейшее участие в работах комиссии по восстановлению Судебных уставов в первоначальной чистоте и по развитию новых начал судоустройства, которые соответствовали бы обновленному государственному строю. О. О. Грузенберг весь отдается этой увлекательной работе. По его настоянию, в армии,—на фронте, начинающем быстро разваливаться,—вводится реформа военного суда, по которой в состав суда входят поровну по три представителя от офицеров и от солдат, а председателем избирается офицер с высшим юридическим образованием, давая, таким образом, перевес офицерскому элементу. Реформа эта спасла жизнь многим офицерам. О ней уже в эмиграции у Грузенберга была дискуссия с генералом Деникиным, обвинявшим его в введении в армии «суда присяжных».

Октябрьская революция обрывает все эти начинания.

Старая жизнь кончилась — начинается прозябание. Блестящий период жизни Грузенберга-адвоката, наполненный активной деятельностью и одухотворенный беспрестанной борьбой за вверивших ему свою участь подзащитных, неожиданно закончился. Едва успевшая наладиться работа Грузенберга-сенатора и члена различных государственных совещаний сразу оборвалась.

Еврейские организации Юга России выставляют его кандидатуру в Учредительное собрание и в ноябре 1917 года он избирается депутатом от Херсонской губернии. Он рвется в первое (и последнее) заседание Учредит. собрания, но прикованный болезнью к постели, под влиянием уговоров домашних и друзей, остается дома «до завтра».

Однако, это «завтра», как известно, никогда не наступило.

После разгона Учредительного собрания, Грузенберг едет в Тифлис, куда уже давно звал его старший брат, видный местный адвокат Матвей Осипович Грузенберг. За этим последовали кратковременные попытки обосноваться в Киеве, а затем в Одессе, а вслед за этим — неотвратимое участие в общем эмигрантском потоке.

Весною 1921 года Грузенберги поселяются как будто надолго в Берлине. В конце этого года, впервые после нескольких мимолетных встреч на юге России, мне привелось встретить своего петербургского патрона уже на чужбине и провести с ним более длительный период в Париже. Прошло несколько месяцев и О. О. вернулся в Берлин. Здесь он впервые стал серьезно хворать. Пользовавший его знаменитый профессор Клемперер диагносцировал у него редкий случай возвратного туберкулеза легких.

В 1926 году Грузенберг поселился в Риге. Здесь ему была устроена торжественная встреча с участием представителей местного общества, адвокатов, студентов, друзей и почитателей, часть которых выехала даже для встречи его на границу маленькой страны. В Риге еще сохранились и живы были традиции недавней общей жизни с Россией, ее язык, ее культура, общие воспоминания о славном прошлом.

Грузенберг погружается в кипучую деятельность. Наряду с обширной адвокатской практикой, он основывает в Риге «Русское Юридическое Общество» с собственным ежемесячным органом «Закон и суд». Этот журнал, напоминавший зарубежным русским юристам незабвенное «Право», он редактировал в течение шести лет. Почти в каждом номере появлялись его передовые статьи («Из дневника юриста»).

В этой работе Грузенберг как будто снова находит самого себя. Тяжкие условия жизни на юге России после октябрьской революции и еще более тяжелые в моральном отношении годы эмиграции «вдали от родины, от любимой работы и в иссушающей погоне за куском хлеба» не сломили его духа. В Риге он снова почувствовал себя адвокатом и поверил в наступление

лучших дней для русской адвокатуры. «У сословия, у которого есть вчерашний день» — пишет он в журнале «Закон и Суд», «не может не быть, должно быть радостное завтра».

Но эта полоса под'ема длится недолго. Он пишет своему старому другу Л. И. Петражицкому: «Мне 65 лет и я стою у выходной двери. По условиям эмиграционной жизни за последние 12 страшных лет у меня нет ни малейшей охоты хвататься за косяк этих дверей, чтобы задержаться хотя бы один лишний день на жутком пороге»...

За эти «страшные 12 лет» Грузенберг потерял горячо любимую дочь Софью Оскаровну, бывшую замужем за Б. Ю. Прегелем и умершую в расцвете лет после тяжелой болезни в 1932 году в Берлине. А в Лондоне определилось тяжкое нервное заболевание, в результате несчастного случая, его единственного сына Юрия, служившего летчиком в английской армии. Торопливо награждавшая его ударами судьба оставила ему лишь верную подругу — жену, всюду его сопровождавшую и всюду и всегда делившую с ним и счастье и невзгоды. Да еще осталась и жила с ними маленькая внучка Нелли, едва ли не единственный радостный и светлый луч, согревавший два состарившихся сердца.

Недавно в Нью-Иорке, на традиционном обеде, устроенном «Кружком русских юристов» в день годовщины Судебных Уставов, один из старших товарищей (Я. Г. Фрумкин) рассказал собранию о поездке О. О. Грузенберга в эти годы по делу в Стокгольм. Больного, почти полуживого, его с трудом усаживают в вагон железной дороги. Роза Гавриловна, яркую и своеобразно-жгучую красоту которой так мастерски зарисовал некогда в Петербурге В. А. Серов на знаменитом портрете, — теперь уже физически не в состоянии была проделать вместе с ним утомительное путешествие. Присутствовавшим на вокзале казалось, что и он вряд ли выдержит его, — пользовавший его профессор Клемперер категорически было воспретил поездку, но встретил такой упорный протест больного, что скрепя сердце напоследок разрешил ее. Об'яснение этого упорства Грузенберга состояло в том, что крупное дело, по

которому он предпринимал поездку, должно было на некоторое время обеспечить материальное существование его семьи. Стокгольмское дело закончилось благоприятно, и Грузенберг едет на французскую Ривьеру, в Ниццу, где он покупает в «доме собственников» квартиру, обзаводится мебелью. В этом новом гнезде он проводит целые дни, записывая свои воспоминания.

Из обширного материала для этого издания, рассчитанного на несколько томов, удалось с большим трудом вывезти из Франции относительно немного. Собирать материал для настоящей книги пришлось путем длительных поисков и большой работы уже здесь, на месте. В этом направлении для пишущего эти строки оказались ценными и личные указания некоторых лиц, близко знавших покойного, как Б. Ю. Прегель и А. Я. Столкинд.

Первый том этих воспоминаний («Вчера») вышел в Париже. П. Н. Милюков в своем отзыве об этой книге сравнивает язык, которым она написана, с языком Герцена и дает почти восторженную оценку выведенной в ней галлерее типов нашего суда.

«Я думаю, что это одна из увлекательнейших автобиографий во всех литературах» — пишет В. Е. Жаботинский.

Должен сказать, что к концу дней О. О. как-то весь душой смягчился и теперь снисходительно-спокойно, даже ласково относился в своих суждениях ко многому, о чем раньше с трудом спокойно думал или рассуждал.

Говорить он еще любил и говорил с прежнею непринужденной плавностью, с прежним уменьем придавать своей мысли яркую, заостренную образную форму, с прежним живым остроумием и проницательностью, быстро схватывающей все стороны самого сложного предмета и выдвигающей на первый план то, чего многие не замечают, но что в его передаче приобретало капитальное значение. Еще и теперь, несмотря на снизошедшее откуда-то мудрое спокойствие речи и скупость сопровождавшего ее жеста, в споре с собеседником в нем разгорался огонек былого красноречия. Но тогда раздавался,

бывало, спокойный, предостерегающий голос «домашнего председателя», Розы Гавриловны: «Оскарик, тебе вредно». И благодарно и ласково взглянув в сторону своего верного стража, тоже состарившегося, но сохранившего все еще яркие следы и былой красоты в лице, и былого авторитета в голосе и в ясном взгляде все еще прекрасных глаз, — он как-то виновато отступал от боевых позиций и закреплялся на более безопасных.

Но все же уже ясно можно было видеть, как с каждым днем медленно угасал этот факел вдохновенной, некогда горевшей таким ярким пламенем жизни. Теперь он всем остатком сил сосредоточивался на грустном преимуществе старых лет — быть рассказчиком того, что было и чего уже не будет вновь. «Страшна не смерть, а умирание страшно», — часто повторял он в эти дни. И когда его на носилках приехавшей кареты скорой помощи, при первом тяжком приступе уремии, выносили из квартиры в клинику, а высыпавшие на лестницу соседи с тревогою и беспокойством смотрели ему в лицо, он как мог ясно и решительно, голосом, в котором и угадать нельзя было страданий, заявил им: "Oui, cette fois-ci, c'est la Caucade" (так называется известное кладбище в Ницце)...

В минуту облегчения, уже после запоздалой операции, когда понадобилось переливание крови, и когда случайно дал свою порцию крови находившийся тут же адвокат православного исповедания, он нашел в себе силы и для шутки: «ну, вот теперь как же не сказать, что евреи употребляют христианскую кровь?»...

В ту же ночь его не стало. Прах старого бойца временно хранит морское побережье Ниццы. Его согревает и ласкает горячее южное солнце, которое он так любил и лучи которого он студентом с юношеской жадностью впитывал в себя на берегу Днепра в далеком Киеве.

За долгие годы моего общения с ним и мне перепало немало отраженных лучей этого солнца, которые он щедро раздавал людям. Мысль, что судьба дала мне возможность согреть хоть немного, в меру моих возможностей и сил, старое

сердце бывшего патрона и друга на закате его дней, доставляет мне и сейчас большое утешение.

«Мое скромное имя», пишет он в «Законе и Суде», «принадлежит не мне и даже не моей семье. Оно принадлежит родным мне по крови еврейским народным массам, обнищалым, голодным и заплеванным клеветою. Они мирятся с моим незнанием родного языка, с моей любовью почти болезненною, к моей несчастной, но и в несчастии великой русской родине, любовью, которая уживается во мне с задачею моих последних лет: помочь по мере слабых сил родному народу, у которого большая и славная история, получить клочек географии»...

На следующий день после похорон депутация от еврейской общины Ниццы, с г. Дубинским во главе, посетила вдову Грузенберга с просьбой дать согласие на то, чтобы его останки при первой открывшейся возможности были перевезены в Палестину. Это согласие было дано.

И когда наступит мир, прах Грузенберга будет перевезен с побережья Ниццы на побережье Тель-Авива. С гордостью и благоговением будет палестинский учитель говорить своим ученикам об этом еврее из далекой страны, который своим могучим словом защищал на чужом для них языке честь и достоинство еврейства.

Не забудется его имя и на родине, в России, которую он так искренно любил и в великую будущность которой он так страстно верил.

И. Л. Цитрон.

I. ОЧЕРКИ — РЕЧИ — ВОСПОМИНАНИЯ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Переживания политического защитника

Пришло время заглянуть в свое сердце.

В него, как и во всякое сердце, гляделась вся жизнь, но не все оно умело отразить, не все и хотело. Что же в нем сохранилось? Что оно любило и что ненавидело?

Нужно заглянуть в свое сердце — посмотреть, нащупать рубцы ран, вспомнить те жизненные битвы, в которых они были нанесены...

Вправе ли я делать это публично?

Да, вправе. Ведь сердце мое, сейчас такое усталое, сжималось от горя, ширилось от восторга, безрассудно расточало свою лучшую кровь — не только за себя и не только для себя...

Пусть я не был вождем ни в одной из армий воителей за человеческое счастье, — но не был я и маркитантом. Никогда, в сытой безопасности, не разбивал я торговой палатки на путях передвижения сражающихся, не выставлял высоких зазывных шестов, повязанных полусгнившей соломой ходких фраз, беспроигрышных лозунгов. Я не втирался в ряды победителей, чтобы в общей суматохе ликований таскать чужие лавры. Не был я и дисконтером чужих поражений. — Я был солдатом, простым солдатом, — но всегда в первых рядах. Еще чаще приходилось бывать братом милосердия, — но всегда в передовых окопах, под вражеским огнем.

Теперь я — не то изгнанник, не то беглец; кто разберет? — Во всяком случае, не я...

Все ближе и ближе надвигаются сумерки; все чаще стучится уныние и шепчет назойливо, что жизнь проиграна, как легкомысленное пари...

Зажигайся, воспоминание! Буди уснувшее!

Вставайте вы, мои незабываемые, вы, которых я прикрывал своей грудью, за которых сыпались на меня тяжелые удары... Вспоминается метание, вместе с моими сотоварищами, по разным концам страны. Припоминаются мрачные залы судов, угрюмые судьи, равнодушно сосчитывающие человеческую греховность. А наискось от них, за моею спиною, бьется судорожно, жертвенно-радостно молодая, безжалостная к себе самой жизнь. Вот-вот захлестнет ее петля палача. Вот-вот закроются навсегда ставшие мне почему-то дорогими глаза, западут виски, заострится нос — и ужас сжимал мое сердце.

— Нет, не отдам, не будет от меня поживы палачу.

Как часто, под конец защитительной речи мозг мой прорезывала, словно вспышка молнии, безумная мысль: как — ты кончаешь? Ты отпускаешь судей в совещательную комнату? Они уйдут и унесут с собою участь того, кто сейчас для тебя единственный во всем мире... Не надо кончать, нельзя... Не отпускай их, не сокращай и без того короткой молодой жизни. Пусть еще, хоть недолго, глядят эти глаза, дышит грудь.

Кончил. Судьи ушли. Вот заскакали, обгоняя друг друга, минуты, часы судейского совещания... Все смешалось...

Кого же судят: Его? Меня?

В кого вцепилась смерть? Вот вышли судьи. Председатель читает. Смерть — жизнь? Сердце отрывается, катится куда-то вниз. Что-же — жизнь или смерть? Жизнь!

Конечно, жизнь, о маловер.

— Послушайте, вы — мудрые, ровные, холодные люди, — люди, для которых нет загадок, для которых жизнь ясна, как базарная такса, — вы, знающие установленные цены на вещи, людей, даже на идеи, испытали-ль вы когда такое счастье?

Дать человеку жизнь в муках борьбы, в дрожи ответственности.

— Разрезать веревку на шее совершенно чужого тебе человека: разве есть на свете радость глубже и прекраснее?

Один за другим, проходят предо мною они, мои подзащитные, все эти беспокойные и бессонные хлопотуны за человеческое счастье.

Хороши они были или плохи? Добрые или злые? — Как мне судить: ведь я всего себя роздал им по кускам.

Побелели волосы. Стынет сердце. Чудится, — люди опустились на четвеdo. Так — думают они — вернее добредут до вселенской благости.

Небо спускается все ниже и ниже, — недоброе и холодное. Солнце старается прикрыться, укутаться. — Стыдно: все оно в мелких, мелких морщинках.

Не знаю — оно ли, я ли, но кто-то из нас двоих безнадежно состарился...

Я делаю смотр самому себе, — смотр после долгого и трудного пути среди грязи, копоти и дыма несчастной, бесконечно милой мне родины...

Я делаю смотр самому себе перед лицом неожиданно нагрянувшего придирчивого ревизора — старости.

О, эта старость... С животным ужасом шарахается она от раскрытой могилы, суетливо, с грохотом, чуть ли не через газетные публикации ищет Бога, вечно что-то шамкает о вечном небе — и в то же время прожорливо тянется ко всем благам земли, хотя беззубый рот уже не может толком их разжевать...

И это она хочет, смеет судить гордую юность?

Ну, что-ж, — пускай судит.

Только еще одну минуту до начала суда — минуту для единственной моей молитвы: Защити! не попусти, чтобы моя юность должна была краснеть за мою старость.

О СВОБОДЕ РЕЧИ НА СУДЕ

В Гродненском окружном суде слушалось дело об еврейском погроме в Белостоке.

Выступавший, в качестве поверенного потерпевших, наш петербургский коллега А. И. Гиллерсон в речи своей, выясняя причину погрома, указал, что она лежит не в розни между христианским и еврейским населением, а в провокационной деятельности местной бюрократии.

Трудовые классы — сказал он—связаны лозунгом: «пролетарии всех стран, соединяйтесь», — между тем, как бюрократия исповедует начало: «обыватели, пожирайте друг друга».

Говоря, далее, о вольнолюбии русского народа, Гиллерсон сослался на существование в седой древности Новгорода и выразил пожелание, чтобы заветы его осуществились вновь.

Надо подчеркнуть, что речь эта не подверглась какому либо замечанию со стороны руководившаго разбором дела Председателя Суда, опытного судебного деятеля Степанова.

Все стали забывать об этом процессе. Не забыли о нем лишь прокуратура и жандармы.

Прокурор Виленской Судебной Палаты, проявив полное недоверие к собственному ведомству, предписал жандармерии привлечь прис. повер. Гиллерсона по обвинению в произнесении речи, возбуждающей к ниспровержению существующего государственного и общественного строя.

Это посягательство на свободу судебного слова, подлежащего контролю лишь со стороны руководителя судебного разбирательства — председателя, было воспринято присяжной адвокатурой болезненно. Повсеместно советы присяжных поверенных созвали общие собрания, на которых было постановлено командировать для защиты Гиллерсона представителей от каждого округа.

Петербургская адвокатура назначила на общем собрании комиссию для разработки юридической стороны возникшего вопроса. Изготовленный мною письменный доклад был одобрен общим собранием и разослан для сведения всем Советам.

На разбор дела Гиллерсона Виленской Судебной Палатою, с участием сословных представителей, были командированы из Петербурга присяжные поверенные Андроников, Леонтьев и я.

Первое заседание было отложено. Старший Председатель Карневич с присущим ему добродушным юмором сказал нам: «Мы перехитрили Грузенберга, — он заявил кучу предварительных ходатайств в рассчете, что Палата ему откажет и тем создаст кассационные поводы, — а мы удовлетворили все его ходатайства, хотя обидно было срывать слушание дела».

На втором судебном заседании, когда дело было заслушано, скамью защиты занимали присяжные поверенные Александров, Леонтьев и я.

Привожу свою речь*), с опущением утративших теперь значение частностей.

«Не для личной защиты нашего товарища А. И. Гиллерсона — как бы близок нам и симпатичен он ни был, — прибыли сюда из разных концов представители русской адвокатуры.

Немало ее членов, унесенных революционной бурею, томятся в каторге, ссылке и тюрьмах. Их защищали отдельные товарищи — и никогда дела эти не становились общеадвокатскими делами. Мы не требовали привиллегии, не искали ее, вполне признавая, что всякий из нас, кто вступил в коллизию с действующим законом, как гражданин, — должен нести и равную со всяким гражданином ответственность.

Но сегодня на скамье подсудимых не отдельный адвокат, на ней — вся адвокатура. Удар направлен против товарища Гиллерсона, но, ранив его, он убьет свободу судебного слова.

Без боя, упорного боя, как бы ни были скромны наши силы, мы ее не отдадим. К нему побуждает нас не инстинкт

*) Впервые опубликована в журнале «Бодрое Слово» за 1910 год.

кастового самосохранения, его требуют интересы исключительной важности.

Основы современного состязательного процесса, залегшие глубоко в народном сознании культурных стран, вывели защиту из жалкой роли приемыша в среде органов отправления уголовного суда и поставили ее на высоту важного государственного служения. Борьба за интересы подсудимого перестала быть частным делом частного лица. С тревогою следит за нею окрепшее общество — и, прощая поныне государству много грехов, оно не желает попускать одного — греха неправосудия...

Нередко несправедливый, отяготительный налог, непроизводительная трата народных средств тревожат не так глубоко общественную совесть, будят в ней не столь остро чувство протеста, как сознание напрасно загубленного судом человеческого существования.

Над мертвой зыбью равнодушной повседневности внезапно, то в одном, то в другом конце культурного мира, — вспыхивает негодование и боль по поводу отдельного случая судебной неправды. Чувства эти ростут и крепнут, захватывают и об'единяют множество людей, заставляя их на время забыть антагонизм национальных, религиозных и классовых интересов. В эти дни самая робкая, задавленная страхом, душа шлет горячий укор государству. Государство знает эту чуткую отзывчивость общества и даже в те тяжелые исторические моменты, когда близорукий страх за утрату той или иной формы толкает его к неоглядному произволу, оно предпочитает скорее симулировать суд, чем от него отказаться.

С энергией, страстью и настойчивостью, с какими оно билось и все еще бьется за участие в законодательствовании страны, общество добилось своего главенства в деле отправления уголовного правосудия. Оно контролирует путем публичности и гласности деятельность суда; оно через своих выборных людей разрешает вопрос о виновности; оно, в противовес государственному обвинению, поставило свою, — равноправную, сильную знанием и независимостью, защиту.

И как ни разнообразны мнения относительно того или иного устройства адвокатуры, они едины в вопросе о необходимости защиты там, где суд выведен из застенка. «Отрицание защиты» — говорит один из виднейших процессуалистов — «есть отрицание правосудия. Процесс, где обвиняемый поставлен лицом к лицу против обвинения, вооруженного всесильною помощью государства, без защиты, не достоин имени судебного разбирательства».

Но, господа судьи, сила и значение уголовной защиты — не во внешнем факте предоставления в помощь подсудимому одного из ее представителей, а в признании за этой защитой особых прав, вытекающих с необходимостью из ея природы, задач и условий деятельности. Только тогда уголовный процесс перестает быть травлею сотнями тысяч одного, когда тот, кому вверяется его защита, свободен от опасения, что за исполнение профессиональных обязанностей его ждут преследования и кара. Слово — единственное оружие защиты, и не надо обессиливать его ударов отместкою за верность и крепость его. Только тогда звучит оно правдиво, убедительно и сильно, когда родится в атмосфере бесстрашия и долга. Оно — не цель, не самодовлеющее искусство; оно — только средство к отысканию истины, к осуществлению справедливости.

Напрасно было бы искать черт аналогии между судебным залом и публичными собраниями; в нем нет ничего, что имело бы своей задачей публику, ее интересы. И если необходимо сравнение, — зал этот ближе всего подходит к анатомическому театру, где не стыдятся оголенного тела, ибо оно больше не соблазняет, — где не боятся возбуждения страсти, ибо она замирает перед таинством смерти. И в судебном зале, всё и все служат одной цели, одной задаче — правосудному разрешению спора между обвинением и защитою.

Люди, как и документы, расцениваются на суде лишь с точки зрения их достоверности, в смысле значения и силы судебных доказательств. И если для проверки истинности показаний представляется нужда в раскрытии неприглядной правды из жизни свидетелей и тяжущихся, в обнаружении

несовершенств государственного строя и порядков, — защита не должна и не может остановиться перед этой тягостной работой. Словно скальпель анатома, допрос и речь защитника должны безбоязненно разрезать все покровы, обволакивающие и правду-истину, и правду-справедливость.

Ища оправдания или смягчения вины, защитник имеет право вскрыть те мотивы, которые всколыхнули душу его клиента и поставили в противоречие с законом. И если для этого надо проникнуть в загадочный мир его идей и грез, если нужно обрисовать их колдующую власть, защитник не только может, — он обязан это сделать. Оправдывая эти идеи, если ими вызвано преступление, защитник исполняет лишь возложенную на него законом функцию и нисколько не должен заботиться о том, какое действие может произвести его речь на публику.

Круг лиц, к которым защита обращает свое слово, идет не далее судейского барьера. Судебный зал открыт для публики не как место зрелищ. Публичность допущена в нем лишь, как одно из средств контроля. И если в том или другом отдельном случае публичное исследование может оскорбить религиозное чувство, нарушить требования нравственности, достоинство государственной власти или общественный порядок, — разве судебный деятель вправе отказаться от выполнения во всей широте лежащей на нем обязанности? Лучше отказаться от могущественного орудия судебного контроля — публичности, нежели сжимать и урезывать судебное следствие, нежели комкать и гильотинировать прения сторон. Предпочтительнее закрывать двери суда, нежели заграждать уста защите.

Суд по политическим делам все время оперирует над легко воспламеняющимся, преступным материалом. Та самая статья, за напечатание которой судится и осуждается редактор, та самая речь, которая вменяется в вину лицу, ее произнесшему, оглашаются без малейшего пропуска судом и сторонами, оглашаются в переполненном публикою зале и появляются на следующий день целиком в печати... вместе с обвинительным приговором за ее напечатание, за ее произнесение. Логика

права вполне об'ясняет разрешение воспроизводить в газетном отчете осужденную речь. Государство не может опасаться ее воздействия после того, как она заклеймена судом, как преступная. Опасаться этого — значит не верить в авторитет суда, значит признать, что между государством и обществом существует глубокий непримиримый антагонизм, который не может долго длиться, который должен разрешиться катастрофой.

Само собою разумеется, что свобода судебного слова, обусловливаемая серьезностью института уголовной защиты, не знаменует еще собою произвола ее.

На страже закономерной деятельности сторон стоит власть председателя, которому единственно принадлежит надзор за правильностью и целесообразностью происходящих на суде действий. И в те часы, когда именем закона отправляется правосудие, в судебном зале нет силы, нет власти сильнее и властнее — суда. Пусть в зале этом произойдет тяжкое нарушение порядка, пусть даже свершится преступление — никакая иная власть не вправе приступить к исполнению своих обязанностей, пока суд ее не призовет или не предоставит ей поля деятельности прекращением собственных функций. Государству нет надобности вводить для надзора за делом правосудия иные органы власти.

Опасения на счет возможного в отдельных, притом редких случаях бездействия председателя лишены серьезного основания; контроль со стороны остальных членов судебного присутствия и лица прокурорского надзора— достаточный оплот против нарушения им служебного долга. И если суд не нашел, что в речи защитника были допущены какие-нибудь эксцессы, никакая власть не вправе входить в пересмотр образа действий защитника на суде. Это недопустимо не только в интересах охранения судебного авторитета, но и потому, в особенности, что для оценки вопроса о правильности и допустимости той или иной судебной речи или отдельных мест ее понадобилось бы воспроизвести всю судебную обстановку со всеми ее, часто неуловимыми, оттенками.

Только суду, рассматривающему дело по существу, возможно судить о правомерности произнесенной речи: перед ним, штрих за штрихом, разворачивается дело, он воспринимает, вместе со сторонами, вызываемые судебным следствием впечатления, — и следя не только за словами оратора, но и за тоном всей его речи. Только он один может отличить неполагает уголовный кодекс за злоупотребление словом.

Власть председателя пресекает всякое злоупотребление словом в самом его зародыше, а за допущенную неправильность защитник должен подвергнуться дисциплинарному взысканию, строгость которого доходит до исключения из сословия. Вряд ли может быть сомнение, что такое наказание превосходит по своей тяжести многие из тех, которыми располагает уголовный кодекс за злоупотреблением словом. Правда, могут быть отдельные случаи невозможности предотвратить злоупотребление словом (произнесение бранных и поносительных выражений и т. д.), но и для этих случаев не следует отступать от основного положения о наказуемости излишества и эксцессов в судебной речи лишь в порядке суда дисциплинарного. Если при осуществлении обыкновенных практических планов игнорируются во имя целого отдельные шороховатости и неудобства, — то вопрос огромной важности, связанный с наиболее жизненными интересами государства, не должен разрешаться в зависимости от малодушных опасений, что надлежащая постановка свободы судебного слова может когда нибудь обусловить применение к нарушителю менее сурового возмездия, чем установленное в обще-уголовном кодексе.

Нет такого института публичного права, где не приходилось бы для успешного его функционирования жертвовать мелкими случайными интересами.

Лучшим примером, взятым при том непосредственно из интересующей нас области, служит институт адвокатской тайны и права свиданий защитника с подсудимым наедине. Во время об'яснения с защитником подсудимый иногда может не только сознаться в содеянном преступлении, но и сообщить факты,

удостоверяющие, напр., осуждение вместо него невинного, или дающие материал для предупреждения подготовляемого его соучастниками нового преступления.

Но, — поскольку сообщенное неразрывно связано с ответственностью его клиента, — защитник обречен на трагизм сохранения тайны преступления. Этого требует от него не кастовая этика, а государство, сознательно жертвующее во имя высшей идеи правосудия целым рядом ближайших и непосредственных интересов. Оно не может допустить, чтобы подсудимый, которого изолировало и обрекло на одиночество пред'явленное обвинение, был отчужден и от того «единственного», кто поставлен на страже его защиты.

А тайна свидания с подсудимым наедине? — Разве закон не понимает, что это право может обратиться в орудие для тяжкого злоупотребления? Разве можно поручиться, что в некоторых случаях оно не послужит средством к организации побега и соглашения с соучастниками? Конечно, нельзя. Но и здесь перед высокой идеей судебной защиты блекнут и никнут все мелкие страхи и практические опасения.

Государственный и общественный интерес, породивший известную функцию, облекший ее в службу, повинность и долг, требует ограничения во имя ее менее важных интересов того же государства и общества.

Эти воззрения на значение и права судебной речи присущи большинству современных законодательств.

Но если теперь обвинение по делу А. И. Гиллерсона пройдет, за всяким находящимся в зале суда будет признано право контроля над судебной речью.

Вот и сейчас, когда я говорю, быть может, кто-нибудь — вон там, следя за моею речью, находит ее преступной — и мне, несмотря на отсутствие замечаний со стороны председателя и видимое внимание всего особого присутствия, придется в пределах давности — лет, пожалуй, через десять, — оправдываться и возстановлять истинный смысл этой речи. И, быть

может, тогда 2-3 лица из публики, или мой противник, удостоятся большего доверия, чем г. председатель.

Сегодня, господа, производя суд над речью, произнесенной А. И. Гиллерсоном в защиту потерпевших по белостокскому погрому, вы не знаете главнейшего, без чего немыслим справедливый суд. Вы не знаете ни правды фактов, раскрытых на том суде, ни чувств, пережитых участниками того процесса.

Обрывки мыслей, осколки фраз, неверно понятых или извращенных — вот все, что до вас дошло, г. г. судьи, из речи защитника интересов гражданских истцов по белостокскому делу. А в ней, в этой речи, важная полоса из пережитого и выстраданного нашим обвиняемым товарищем, быть может, самая мучительная полоса. Эта речь зародилась в сумрачном зале судебного заседания, где в течение двух недель, изо дня в день, развертывалась, штрих за штрихом, картина зверской злобы одних, просвещенной жестокости других и бесчувственного равнодушия многих, — к несчастью, очень многих. Эта речь росла под показания свидетелей о том, как подожгли лесопильный завод, и как спасавшихся от пламени и дыма людей встречали выстрелами. Она созревала под холодным отчаянием матери, поведавшей суду, как на глазах ее убили сначала сына, а затем заставили навеки замолчать рыдавшую над его трупом дочь. Она окрепла в чувстве негодования, когда наш товарищ убедился, что люди власти, люди закона стремились отобрать у убитых, у разгромленных то, чего не сумели взять громилы — их честь...

В эти дни, — дни белостокского процесса, — рассеяно немало молодых верований, отлетело одно за другим много мечтаний былых дней — и не у одних только защитников потерпевших.

Вам, г. г. судьи, детям великого народа, народа владыки, занимающего одно из первых мест на мировой арене, незнакомы чувства интеллигенции разбитых народов, подавленных трагизмом истории. Теперь — не время говорить о них. Скажу лишь: белостокская резня, как и другие организованные массовые истребления еврейства, прошли не напрасно для его

интеллигенции. Брызги крови, неповинно пролитой крови, пали на ее чуткую душу и зажгли ее болью и отчаянием. Интеллигенция, в огромной части своей, отреклась от планов самоубийственной ассимиляции и вернулась к своему народу, чтобы вместе с ним биться за существование. И надо ли удивляться, что в неиз'яснимой муке этой борьбы у некоторых из отчаявшихся рождается мысль, что у людей, лишенных всех человеческих прав, остается одно только право: право умереть достойно.

Как велика должна быть сила этого отчаяния, если молодая жизнь ищет утешения в словах поэта-мыслителя: трус умирает много раз, храбрый — только один... Не требуйте же от потерпевшего в кровном и дорогом для него деле разсчитанности отдельных слов и скрупулезной взвешенности выражений. Нельзя же всегда сверять биение взволнованного, мятущегося сердца с размеренным ходом прокурорского хронометра. Бывают минуты, когда не забыться значило бы забыть свое достоинство человека.

(Пропускаю здесь разбор свидетельских показаний и представленных к делу газетных отчетов, на основании которых восстановлены были инкриминируемые места речи в том освещении, которое дал им свидетель прис. пов. Г. Д. Скарятин).

Да, обвинение бессильно — и обессилено оно не нами, не нашей защитою. Разве не бессилие зачало его, когда пять дней два прокурора, участвовавших в белостокском деле, не могли решить вопроса, говорил ли Гиллерсон о Новгороде, как республике, или о Новгороде, как княжестве? Вряд ли сознание силы пред'являемого обвинения руководило прокурором виленской судебной палаты, когда, минуя судебные власти, он передавал чисто-судебное дело жандармскому управлению. Зачем это? — Разве судебная власть не выполнила бы во всей строгости велений закона и служебного долга? Конечно, направление дела по судебному руслу гарантировало бы обвиняемому хотя бы минимальные средства защиты, предоставило бы ему возможность обжалования самого привлечения.

Но разве обвинение, сильное своею правдою, боится за-

конной борьбы законными средствами? Разве сознание правоты побудило руководителя жандармского дознания отказать обвиняемому в вызове всех — буквально всех — указанных свидетелей, даже руководившего заседанием председателя Степанова, члена суда Захарова, участвовавших в деле представителей потерпевших и защитника подсудимых? Этот перечень вопросов можно бы еще продолжить... Но к чему?

Неужели не ясно, что нет обвинения, — есть только обвинитель; нет преступления, есть только угроза наказанием.

Я знаю, — политические верования раскололи, разметали крепкую когда-то единством судебную семью. Но есть лозунг, что всегда влек и влечет нас под ваши знамена: лозунг этот — законность и служение ей.

Вот уже 6 лет, как русская адвокатура введена в отправление суда по политическим делам. Тяжелые, мучительные годы. С крайним напряжением сил, с забвением собственных интересов товарищи наши в разных концах огромной страны служили свою, быть может, невидную, но великую службу, службу защиты личности против натиска на нее государства, против ошибок и несправедливостей обвинения.

Половину этой работы приходилось совершать в чуждых нам дотоле военных судах, очень часто при закрытых дверях, без бодрящей поддержки близких и дорогих: холодные стены — и ты один с клиентом среди равнодушных и чуждых.

Адвокатура сознавала, что сметающая одно за другим все свободные учреждения реакция не пощадит и ее. Она чувствовала, что на нее, словно на воздушный колокол, опущенный на дно моря, давят отовсюду враждебные волны: одна трещина — и все погибло. Но она не страшилась, сознавая свою правоту перед велением совести и долга. Прекрасное утешение, но слабое ограждение! Неужели сегодня эти волны захлестнут и ее, одну из немногих сил, беззаветно служащих обществу?

Пока этого не случилось, пока то место, откуда я говорю, еще свято, пока наше слово звучит по прежнему свободно.

мы заявляем обществу, что ему грозит беда: политическая защита должна быть свободна или ея не должно быть вовсе. В судах не нужно гробов повапленных, снаружи украшенных, но наполненных костями мертвыми.

Как суров бы ни был ваш приговор, он русской адвокатуры — я твердо верю — не запугает.

Куда бы исторические судьбы ни забросили ее членов, — в реакционный ли застенок или революционный трибунал, — всюду они отдадут своим подзащитным все помыслы, всю силу души — и в этой всепоглощающей работе не останется ни минуты для малодушной тревоги за себя.

О ПЕТРОГРАДСКОЙ АДВОКАТСКОЙ ГРОМАДЕ

1866-1916 *).

Мое слово—не о внешней, прагматической истории петроградской адвокатуры: ей посвящено несколько прекрасных книг.

Я зову ваше внимание не к воспоминаниям об отдельных крупных наших товарищах, не к характеристике их таланта и деятельности. Не ими, как бы ни были важны их заслуги, определяется роль и значение адвокатуры. Мое слово — о великой, непобедимой громаде, о той роевой силе, которая творила и творит нашу адвокатскую историю, — нет, не историю, — творит самое жизнь; моя речь — о сословии.

Вне сословия — нет и не может быть адвоката: роковым образом тонкий юрист выродится в кляузных дел мастера, блестящий оратор — в беззастенчивого говоруна.

Достаточно назвать бывшего профессора Петрогр. Университета Лохвицкого, которого заела внесословность.

Ничто не могло спасти его: ни обширные знания в области уголовного права, ни огромный аналитический ум, ни редкий дар диалектики.

И как Антей, прикасаясь к матери-земле увеличивал свои силы, так даже лучшие из нас, самые талантливые и сведущие, сильны только своею связью с сословием. Здесь, в благодетельной атмосфере контроля и критики, общественных идеалов и немолчного зова к исполнению долга, — росли, крепли и созревали таланты.

Освобожденная реформами 60-х годов от бесправия и

---

*) Речь в юбилейном общем собрании петроградской присяжной адвокатуры 17 апреля 1916 г.

черной неправды, страна тысячами голосов звала самоотверженных ратаев на непочатую ниву зарождающейся гражданственности.

Миллионы вчерашних рабов, проснувшись неожиданно людьми, казалось, молили своею беспомощностью: если не вы за нас — то кто же, если не теперь, — то когда. Истомившись от долгих ожиданий, сотни благороднейших романтиков, обреченных дотоле на одне лишь мечты, судорожно и стремительно откликнулись на этот призыв, бросая ученые кафедры, бюрократические кабинеты, спокойные канцелярии и сытое довольство частных занятий.

Они спешили к литературному, земскому, школьному делу; — они пришли и в суд.

Кадры судебных деятелей стали быстро пополняться лучшими людьми — и среди них наиболее даровитые и сильные, склонные к кипучей активной работе, стремились в ряды адвокатуры и прокурорского надзора. Некоторые из них готовились к предстоящей деятельности чуть ли не как к подвижничеству, требующему отречения от мирских соблазнов: любители и искатели доброй старины, вероятно, помнят наивную, но милую, именно по наивности своей, публикацию о необходимости скорейшей продажи имения, в виду намерения собственника его посвятить себя службе по судебному ведомству, не допускающей «никакого совместительства». Если бы в то время кто-нибудь сказал, что недалеки дни, когда достоинство прокурора будет исчисляться количеством обвинительных приговоров по сомнительным делам, а температуру адвокатского вдохновения станут определять по горячности в проведении конкурсных дел, — все отвернулись бы с негодованием от такой непристойной шутки.

Прошли года.

Ни на одном из государственных организмов не замечается столь резко воздействие общественных течений, как на суде; словно взаимно сообщающиеся сосуды, — общество своим упадком обусловливает понижение уровня суда.

Конец 70-х и начало 80-х годов с их смутным умственным брожением и нравственным разбродом, нарождение близорукого и мелочного стремления к материальному успеху отбросили далеко кипучую струю шестидесятых годов.

Захлопнулась широкая дверь, в которую все доверчиво и радостно выходили на бодрую работу жизни, и при падении своем она ущемила немало верований и надежд.

Началась переоценка общественных идеалов. Эту операцию взяла в свои цепкие руки прожорливая биржа, с ее банками, железными дорогами, промышленными и торговыми предприятиями.

Они также позвали к себе людей, сведущих в праве, но не робко и просительно, а пренебрежительно-торжествующе: если не вы, так другие; если не теперь, — то, все равно, немного позже.

И если что спасло петроградских адвокатов от засасывающей тины мелких помыслов и грубо меркантильных расчетов, — то только сословная требовательность.

Она сформировала нравственный облик адвоката, оторвала его от обывательщины, дала ему общественную выправку.

И если уместны счеты, сословие может сказать любому из своих наиболее одаренных сочленов: я пред тобою — не в долгу...

Великий, пока еще непревзойденный общий наш учитель В. Д. Спасович — и тот испытал воспитательную силу коллективного разума и совести адвокатской громады.

В речи своей перед Сенатом по делу Мельницких (1884 г.) В. Д. Спасович счел необходимым расширить пределы данного казуса и остановиться на вопросе о русском суде присяжных.

Суд присяжных болен, очень болен — говорил он; его надо лечить и, притом, незамедлительно, так как болезнь существует уже долго и запущена. За ним ухаживали, ему прислуживали, его баловали, его систематически искажали. «Кроме законодательной власти и администрации, на развитие института влияли все составные части персонала судебного ведомства... Кто без греха? На вопрос, исполнили ли эти органы все

свои обязанности по отношению к институту, как следует, едва ли не придется дать отрицательный ответ. Наши судьи коронные так были сердечно рады, в такое пришли умиление, когда им пришлось водворять учреждение, обновляющее весь порядок производства, что с ними произошло нечто подобное тому, что описано в Евангелии, как поклонение волхвов младенцу Иисусу. Все торопились ударить челом, поклониться Мессии, передать дары и власть»...

И напрасно В. Д. Спасович 12 лет спустя, в своей речи в Юридическом Обществе, посвященной памяти Неклюдова, говорил, вспоминая дело Мельницких: «Мы скрестили с ним оружие».

Нет, оно не было скрещено—и обер-прокурорское заключение Неклюдова, подвергшее уголовную защиту небывалому дотоле оскорблению, является лишь крайним развитием схожих мыслей и чувств защитника.

Ни для кого не тайна, — сказал Неклюдов, — что эти уставы, составляющие славу и гордость прошлого царствования и долженствующие служить оплотом царствования настоящего, подверглись в последнее время публично тяжелым нареканиям, напоминающим собою ту страшную страницу из книги Божией, которая гласит: И раскаялся Господь, что сотворил человека на земле, и восскорбел в сердце своем. И от человека до скотов и гадов, и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Справедливость требует признать, что значительная часть этих нареканий выпадает вполне заслуженно на долю защиты, нежелающей отличать правого от виноватого, и прибегающей к одним и тем же средствам защиты и от’явленного злодея, и лица, случайно впавшего в преступление, настаивая во что бы то ни стало отпустить ей ее Варраву, распяв ради сего свидетелей, и даже самый закон, — забывая, что причиненный его деянием нравственный и материальный вред не всегда может быть искуплен даже понесением определенного за него наказания.

Слова эти В. Д. Спасович оставил без ответа.

Но на них ответил, — точнее, заставил ответить, — через несколько дней адвокатский рой — сословие. Здоровым инстинктом оно поняло, какое сильное оружие, — конечно, безсознательно, — дал любимый вождь петроградской адвокатуры в руки врагов суда присяжных и адвокатуры.

24-го марта того-же года в газетах появилось письмо, за подписью всех бывших председателей Совета — Стасова, Арсеньева, Спасовича, Унковского и Люстиха, где шаг за шагом, с силою, исполненной достоинства, разбирается митинговое заключение Неклюдова, выясняются задачи уголовной защиты. На упрек в «распинании» закона сословие отвечает: — «Наконец мы просто затрудняемся уразуметь выражение: Распинать закон. Когда в общежитии говорят о распинании Христа, то под этими словами обыкновенно разумеют неисполнение или нарушение заповедей Христовых, или дурное их истолкование и применение. В этом смысле наибольшее число распинаний пришлось бы на долю судов, которые, действуя согласно своему назначению и толкуя закон, то его с'уживают, то его растягивают и часто должны отступиться от сделанных ими же раз'яснений. Если же под распинанием закона понимать его исследование по источникам, оценку вызвавших его причин и последствий, свободное критическое к нему отношение, то подобное распинание не только не преступно и не должно быть запрещено, но оно, напротив того, весьма желательно. Нам памятен один писатель, который, можно сказать, живой нитки не оставил в целых разделах нашего уголовного кодекса и вгонял гвоздь за гвоздем, распиная одну статью этого кодекса за другою. Этот писатель — Н. А. Неклюдов, автор четырех томов «Руководства к особенной части русского уголовного права». Спрашивается, неужели защите будет запрещено приводить просто на просто выдержки из учебника г. Неклюдова»?

Право ли было сословие, что подняло брошенную Неклюдовым в заседании Сената перчатку, вправе ли оно было перенести на столбцы газет, как будто бы, чисто-судебный спор?

следовало ли, наконец, публично корректировать своего учителя?

Жизнь блестяще разрешила все эти вопросы и показала, что роевой инстинкт не обманулся.

Слова Спасовича были подхвачены не только реакционной печатью, но и мощными делателями российской политической погоды.

Спустя 30 лет после этого события, в прошлом году в двухтомных работах Министерства Юстиции, посвященных 50-летию Судебных Уставов, автор очерка «Новый судебный строй» — барон Нольде приводит недопускающее более никаких сомнений удостоверение того вреда, который принесла новому суду речь в Сенате защитника по делу Мельницких.

Слова Спасовича, — пишет он, — который ни по убеждениям, ни по профессии не принадлежал к числу противников идей Уставов, привлекли всеобщее внимание представителей враждебного к ним течения. Конечно, Спасович имел в виду усовершенствование суда присяжных, когда отмечал недостатки его современной постановки, но из его слов все-таки вытекало, что институт «болен», что судьи с ним не умеют справляться, что надо «врачевать», а противникам открывался простор в выборе средств врачевания и своих предложений, вплоть до полной или частичной ампутации. О причинах можно было спорить, можно было спорить и о выборе лекарств, но факт признания болезни оставался бесспорным, и его можно было толковать, как разочарование, если не в идее института, то в той широкой постановке, которая ему дана была по Судебным Уставам. Слова эти не могли вселять бодрости в друзьях института, а противникам давали сильное оружие.

И сословие вправе сказать, что, подводя мудрую голову Владимира Даниловича под ярмо общественного интереса, оно доказало не то, что громада — великий, по власти, человек, а то, что она — надежный человек. Тот же роевой инстинкт подсказал петроградскому сословию, что его величайший долг, властный долг чести — отдать свои лучшие силы, свое вдохновение, знание и любовь защите по политическим и литера-

турным делам. Не в том вопрос — много ли в петроградской адвокатуре радикальных элементов. Вопрос этот меня, как члена сословия, сейчас не занимает: такой подсчет — дело политических партий и политической полиции.

Меня занимает другое: поняло ли сословие, что там, где государство напирает со всей своей безграничной мощью, со всей неотвратимостью своих беспощадных рессурсов на песчинку — на отдельную личность, — там, и, прежде всего, там, место адвокату? Там должны найти применение важнейшие доблести защитника — бесстрашие, готовность принимать на свою грудь направленные против подсудимого удары и умение не бояться одиночества в зале судебного заседания. Какая гордость, какая радость, что русская адвокатура, едва начав жить, заняла с первого же дня место рядом со старейшими европейскими сословиями. Судите сами.

В самом начале 18-го века, когда впервые была допущена в Англии защита по политическим делам, первые речи в классической стране адвокатуры звучали робко.

«Мы назначены, — так начал свою речь в защиту нѣскольких лиц, обвинявшихся в государственной измене, известный адвокат Шоуер, — защитниками вследствие парламентского акта и надеемся, что ничто из того, что мы скажем в защиту наших клиентов, не будет вменено нам в вину. Мы приходим сюда не для того, чтобы оправдывать действия, в которых обвиняются подсудимые, и если предполагаются принципы, на которых могли быть основаны такие действия, так мы не знаем ни одного принципа, религиозного или гражданского, который оправдывал или извинял их».

Историк английской адвокатуры Форсит замечает: «это слишком холодное начало для адвокатских речей». — Чего уж холодней... Так никогда не говорил, независимо от своих политических убеждений, ни один русский защитник.

В первых же речах русских защитников зазвучали гордые, самоотверженные ноты французских собратьев, собратьев, не побоявшихся итти против революционного конвента, не побо-

явшихся принять на себя защиту Людовика XVI и Марии-Антуанеты. Беррье в своих «Воспоминаниях» рассказывает о совещании нескольких видных адвокатов по поводу предстоявшего процесса короля. Они решили, что если выбор падет на кого либо из них, то он должен начать свою речь словами:

«Я приношу конвенту истину и свою голову. Он может располагать моей жизнью, но после того, как выслушает мои слова».

И в сердце русского адвоката, хотя бы он принадлежал к крайней левой партии, встретят всегда живой отклик речь роялиста Де-Сез в защиту Людовика XVI, речь Шово-Делагарда в защиту Марии-Антуанеты и его же речь в защиту Шарлоты Кордэ.

Первый русский политический процесс совпал с волною реакции. Это было после Каракозовского выстрела, когда в правящую среду проникло недоверие к обществу, зародилось сомнение в целесообразности произведенных реформ.

И не смотря на общую реакцию, на сыпавшиеся в изобилии административные кары, наши товарищи 50 лет тому назад защищали с такой же страстностью, с таким же мужеством, как и в пресловутые 1900-ые годы.

Я собрал около двух десятков политических процессов той эпохи, но, за поздним временем, мне надо ограничиться лишь делом 193-х и делом 1-го марта.

Сейчас, товарищи, пройдут перед вами Спасович, Герард, Потехин, Турчанинов. — Не навождение ли это? Неужели это они — осторожнейшие из осторожных, всегда одергивавшие нас за пыл и смелость? Так и хочется крикнуть им ихним же окриком: Что это вы!... Ради Бога, полегче... не рискуйте судьбою сословия!...

Процесс 193-х или, т. наз., «большой процесс» слушался в Особом Присутствии Правительствующего Сената, с участием сословных представителей, свыше 3 месяцев, начавшись 18 октября 1877 года и закончившись 23 января следующего года. Петроградской адвокатуре пришлось мобилизовать все свои силы; к защите были призваны не только успевшие просла-

виться за первое десятилетие деятельности новых судов Спасович, Турчанинов, Потехин, Герард, Стасов, Александров, но и зеленая молодежь, к которой тогда принадлежали Ник. Плат. Карабчевский и Е. И. Кедрин.

Дело слушалось в этом же здании, при открытых дверях. Зал едва мог вместить подсудимых, защитников, должностных лиц и введенных для опроса свидетелей. Набралось, сколько можно было, и публики.

Как только заседание было об'явлено открытым, В. Д. Спасович обратился к Особому Присутствию с заявлением от лица всей защиты. Указывая на необходимость для суда публичности и гласности, он ходатайствовал о переносе заседаний в другую более поместительную залу, а до приискания таковой отсрочить судебное заседание. Здесь — продолжал Владимир Данилович — мы не видим стенографа, но если бы он и явился, мы, все-таки, просили бы Особое Присутствие о дозволении иметь собственного стенографа, так как полный стенографический отчет существенно необходим.

Вслед за ним поднимается В. Н. Гергард.

Он «считает долгом напомнить» Особому Присутствию, что при введении судебных уставов указывалось, что если публичность желательна во всех судебных местах, то в Особых Присутствиях она необходима, так как отсутствие ее было бы противно достоинству Сената и подрывало бы веру в его справедливость.

Как видите, наших юридических родителей не удовлетворяла в политических делах публичность в существующих залах суда; им нужны были обширные залы, полные публики — и они обижались, если правительственный стенограф запаздывал на несколько минут.

Прошло несколько дней. Демонстративное поведение подсудимых, стремившихся провозглашать на суде свою веру, смутило Особое Присутствие. Первоприсутствующему трудно было справиться со множеством подсудимых — и решено было, сохранив публичность, прибегнуть к искусственному средству

— разрежению скамьи подсудимых. В заседании 24 октября было об'явлено, что Сенат находит, что, несмотря на тесную связь всех частей дела между собою, не представляется физической возможности, в виду недостаточности помещения, произвести судебное следствие во всем его об'еме в присутствии всех обвиняемых; что по обстоятельствам дела обвиняемые могут быть разделены на 17 групп; что производство судебного следствия в отношении к каждой из вышеназванных групп в отдельности не может нанести никакого ущерба интересам сторон, так как все лица, имеющие, по обстоятельствам дела, какое-либо отношение к известной группе, будут присутствовать при рассмотрении всех относящихся до группы обстоятельств; что при таком производстве судебного следствия и при судебных прениях, общих для всех 17 групп, в присутствии всех обвиняемых, вполне может быть достигнуто выяснение как общего характера дела, так и всех обстоятельств, относящихся до каждого обвиняемого в отдельности.

Неожиданность этого определения ошеломила всех присутствующих. Общее молчание. Поднимается В. Н. Герард. — «Это ваше окончательное решение?» — прорезывает тишину его металлический голос. «Последнее и окончательное» — отвечает Первоприсутствующий и спешит закрыть заседание.

На другой день, по открытии заседания, А. Н. Турчанинов обращается, от имени всех защитников, к Особому Присутствию Сената с заявлением, что для них было совершенно неожиданным оглашенное вчера определение о делении подсудимых на группы, что на основании 613 ст. защита имеет право представлять свое мнение по поводу порядка производства дела и просит присутствие выслушать заявление защиты. Встает П. Я. Александров и оглашает письменное заключение защиты.

Представляя наше ходатайство — заканчивает свое чтение П. А. Александров — мы, по долгу нашего звания и совести, считаем себя обязанными заявить, что только полное его удовлетворение даст нам возможность, каждому по мере сил, исполнить возложенную на нас

тяжелую обязанность в той полноте и с той законной свободой, которые так необходимы для правильного отправления правосудия; в противном случае, считая бесчестным покинуть наш пост, пока есть какая-либо возможность держаться на нем, мы искренно заявляем, что исполним из нашей задачи только то, что предоставит нам исполнить усмотрение особого присутствия».

Это заявление защиты товарищ обер-прокурора встретил «с глубоким — как он выразился — прискорбием» и... резкою репликою. В этом заявлении виден — сказал он — предварительный сговор, потому что оно даже письменное; оно проникнуто желанием сделать упрек особому присутствию и взвести на него нарекания.

Горячую отповедь дает ему Герард. Он протестует против искажения истинного смысла слов защиты, он заявляет, что защита не страшится нареканий: она отстаивает и будет отстаивать свои права.

Но П. А. Потехин не удовлетворяется репликою Герарда. Он требует занесения слов тов. об.-прокурора в протокол. «Они — оскорбительны для защиты: я возбужу по поводу их особое дело против обвинителя: я прошу Первоприсутствующего впредь не дозволять так искажать слова защиты». Подымаются все защитники с заявлением о присоединении к требованию Потехина.

Первоприсутствующему едва удается успокоить расходившиеся страсти.

Вы, товарищи, недоумеваете; вы думаете, что я мистифицирую вас, что это — не Спасович, Потехин, Герард, Турчанинов, что, на самом деле, это все те же — Н. Д. Соколов, Зарудный, Керенский, Андроников и я, грешный. Нет, это — они — наши «правые», наши «реакционеры»... И какими кроткими, в сравнении с ними, кажемся мы, протестанты 900-х годов.

Процесс 1 марта 1881 года. — Процесс об убийстве того,

кто был особенно дорог всем деятелям нового суда. Посмотрите, с каким достоинством, с какою энергиею и внутреннею свободою боролись за жизнь подсудимых, сами потрясенные до глубины души ужасным событием, защитники.

Какою нравственной красотою веет от всех них, в особенности от В. Н. Герарда, защитника Кибальчича.

Аристократ по рождению, воспитанию и убеждениям, близкий к высшему придворному кругу, молитвенный поклонник царя-реформатора, Владимир Николаевич нашел в себе и мужество, и силы сказать правду о том — какие условия русской жизни породили террористов.

Прерываемый неоднократно резкими замечаниями и остановками Первоприсутствующего, Герард, с присущей ему живостью, изобразил, как озлоблялись в то время юные души неосновательными, черпающими нередко силу в непроверенных донесениях, административными высылками. — Я не буду говорить о несправедливости этой меры, — замечает Герард; я полагаю, что она осуждена... Первоприсутствующий перебивает: «это не подлежит нашему обсуждению». — В. Н. Герард: Я укажу только на практическую непригодность этой меры, как показали все процессы... **Первоприсутстующий**: Этот предмет не подлежит нашему обсуждению. — Герард: «Я хотел только сказать, что людей энергичных, которые готовы решиться на действительно деятельную борьбу с правительством — эта мера никогда почти не касается; им открывается сейчас же путь нелегального положения; и вот это то нелегальное положение поставило Кибальчича на то место, на котором вы его видите».

С задушевной грустью рассказывает он про то, как юношу Кибальчича держали почти 3 года в предварительном заключении для того, чтобы потом приговорить его по суду... к одному месяцу тюрьмы...

Когда читаешь с замиранием сердца эту речь, то и дело прерываемую остановками, замечаниями, — так и кажется, что видишь — как близкий и дорогой тебе плывет, выбивается из сил, против громадной волны. Вот-вот захлестнет, вот-вот по-

глотит. Но смелый пловец рассекает волну, ныряет — и через несколько мгновений он снова на поверхности, снова бьется — и плывет все дальше и дальше.

Такими же мужественными, стойкими были всегда члены петроградской адвокатуры и в борьбе за книгу и писателя.

Неизбалованные особой любовью печати, наши товарищи заботились и заботятся не столько о своих правах, сколько об обязанностях перед нею.

Мы все чувствуем свою вину перед замученным условиями нашей действительности поэтом, пришедшим на землю с выразительною грамотою от Бога. — «И угораздило же мою мать — писал Пушкин — родить меня с талантом в России: здесь талант — проклятие». И с этим проклятием прошел он свой скорбный путь, а за ним, — тоже с проклятием, шло и идет множество других писателей.

Он хочет—писал Пушкин к жене об одесском кн. Воронцове, — чтобы русский писатель стоял в его передней, а писатель с ним разговаривает, как трехсотлетний дворянин.

И это дворянство ума, таланта и подвижничества всегда находило у нас горячую, сердечную защиту и для себя, и для своих работ.

Первые же литературные процессы нашли энергичных защитников, боровшихся за секуляризацию слова, освобождение его от тисков тогдашней духовной цензуры.

Уже в 1867 году, в защиту В. Гайдебурова и изданной им книги Вундта — «Душа человека и животных», в 1869 году — в защиту Щапова за книгу Луи Блана — «Письма об Англии»», в 1871 году — в защиту Полякова, за книгу Лекки — «История возникновения рационализма в Европе» Спасович вскрыл те тяжелые условия, которые у нас давят и глушат научную мысль.

Уже в 1869 году петроградской защите в деле Павленкова удалось добиться ненаказуемости писателя и издателя за отпечатанную, но задержанную цензурою книгу. Это важное завоевание, обеспечивающее хотя бы самый процесс научного и литературного творчества, было утрачено в более либераль-

ную эпоху, — с появлением пресловутой 132 статьи Уголовн. Уложения.

Надо ли перечислять другие литературные процессы? Разве борьба, которую мы ведем, вот уж сколько лет изо дня в день, в залах суда за русскую литературу не у всех в памяти, не у всех на виду? Разве мы не вправе ограничиться утверждением, в спокойном сознании его неопровержимости, что нет русского писателя, безотносительно к его направлению, который бы встретил у петроградской адвокатуры отказ в защите?

Девяностые годы не застали врасплох петроградской адвокатуры. Несмотря на значительный период времени, в который политические и литературно-политические процессы были фактически из'яты из судебного ведения, защита оказалась на большой высоте, лишь только для нее раскрылись двери судов.

Сотни дел крестьянских, фабричных, погромных, тысячи дел чисто-политических — всем им дала стойких, мужественных защитников наша адвокатская громада. С крайним напряжением сил, часто с забвением собственных интересов, товарищи наши в разных концах русской земли служили свою, быть-может, невидную, но великую службу, — службу защиты личности против натиска на нее государства, против ошибок и несправедливостей обвинения. Половину этой работы приходилось совершать в чуждых нам дотоле военных судах, очень часто при закрытых дверях, без бодрящей поддержки близких и дорогих: холодные стены — и ты один с подзащитным, среди равнодушных и чужих.

За этот огромный труд адвокатура получила награду — в виде процесса товарища Гиллерсона.

Словно от электрической искры, зажглась негодованием и обидою адвокатская роевая сила. Она сделала процесс отдельного товарища общесословным. Она подняла огромное движение, поставила во главе его своих излюбленных стариков — Турчанинова, Люстиха, В. И. Леонтьева, стала собираться в

общие собрания, создала особую комиссию, спаялась с товарищами других округов и назначила сословную защиту.

Адвокатура поняла, что наступил ее черед, что сметающая, одно за другим, все свободные учреждения реакция не пощадит и ее. Она давно уже чувствовала, что на нее, словно на воздушный колокол, спущенный на дно моря, давят отовсюду враждебные волны: она трещина — и все погибло. Но она не страшилась, сознавая свою правоту перед велениями совести и долга. Она, эта роевая сила, сказала русскому обществу, что политическая сила должна быть свободна, или ее не должно быть вовсе, что в судах не нужно гробов повапленных, снаружи разукрашенных, но наполненных костями мертвыми.

Это вы, товарищи, сказали моими устами в суде над Гиллерсоном: Как суров бы ни был приговор, он русской адвокатуры не запугает, куда бы исторические судьбы ни забросили ее членов — в реакционный ли застенок, или революционный трибунал — всюду они отдадут своим подзащитным свои помыслы, всю силу души — и в этой всепоглощающей работе не останется ни минуты для малодушного страха за себя.

Что же давало и дает нашей громаде силы в этой борьбе? — Единомыслие с подзащитными? — Нет, не это: на скамье политической защиты сидело и сидит не мало защитников, не разделяющих их убеждений и тактики.

Что же? — Неужели то, что наш талантливый московский собрат назвал в своей известной лекции — безпринципностью адвокатуры? — «Адвокаты, — говорил в своей лекции и повторил в печати В. А. Маклаков, — люди безпринципные. Я говорю это не в том дурном смысле слова, которым клеймят человека, который изменяет своим убеждениям; у адвоката просто их нет». Теперь не время с ним спорить. Очень грустно. если его друзья, товарищи, его повседневные встречи не убедили его, что в области политической, общественной, религиозной члены адвокатуры стойки, до щепетильности, в своих убеждениях и верованиях. Он, очевидно, смешивает область принципов с профессионально-техническими сведениями, при-

менение которых зависит нередко от конкретных условий отдельного случая.

Что же так властно толкает нас на скамью политической защиты? — Только одно. — Стародавнее русское начало: судом не мстити, судом не жаловати... Где же больше грозит ему опасность нарушения, как не в делах политических?

Не это ли начало об'единило нашу громаду в один порыв, в одно движение вокруг имени безвестного, неприметного киевского мещанина Бейлиса?

Не оно ли одно, независимо от вопроса о симпатиях или антипатиях к евреям погнало на крупные жертвы, на личные страдания?

Товарищи. — Двадцать пять лет тому назад, в этот самый день 17-го апреля, В. Д. Спасович, на юбилее сословия, сказал на своем чарующем, даже неправильностями, языке: «Подадим себе руки, вспомним о славных, прошлых годах и поплачем так, как плакать не будут наши преемники, которые доживут до другого 25-летия, до 1916-го года».

Он не ошибся. Мы не плачем... Мы не плачем, но не потому, что изменились к лучшему условия нашей жизни, что не ноют наши раны. Мы не плачем... Да будут благословенны наши горести, наши обиды, наши гонения. — Они закалили наш дух, сделали несокрушимой нашу волю.

Мы хотим жить; мы будем жить... А для адвокатуры жить значит неустанно биться, — без страха поражений и без самообольщения победами, — за право и свободу, без которой нет и не может быть истинного права.

СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ И СУД НАД НИМ

Революция не только в том, что доведенные до отчаяния массы выступают плохо вооруженными на улицу, но и в том, что слуги обреченного режима теряют в него всякую веру и быстро охватываются параличем воли к сопротивлению.

Лучший пример — собранные Людовиком XVI для определенных заданий генеральные штаты. Приняв вскоре бунтарский характер, штаты эти на повеление короля разойтись, дерзостно ответили представителям власти: «скажите *вашему* повелителю, что народные представители» и т. д.

Казалось бы, что после такого дерзкого вызова будет немедленно введен небольшой воинский отряд для разгона ослушников и ареста их вождей. Казалось бы! — Но власть не нашла в себе душевных сил, чтобы дать надлежащий отпор.

То же душевное банкротство испытали жестокий террорист Робеспьер и его сподвижники. — Что-то в их психике ослабело, что то сместилось — и всех их охватили усталость и безнадежность, несмотря на остававшийся в их распоряжении запас значительных кадров. Они на себе познали непреложный закон о полной зависимости высоты революционной волны от психики масс. То, что еще вчера казалось явно безнадежным, осуществляется сегодня с непонятною, на первый взгляд, легкостью: тигры превращаются в слабосильных овечек.

Об этом свидетельствует также судьба Совета Рабочих Депутатов — примечательного явления русской революции 1905-1906 г.г. Совет этот прожил лишь 52 дня, но в этот короткий период обладал мощью государственной власти и диктовал свою волю впавшим в немочь органам законного правительства. Для России в то время существовала лишь власть Советов: почта, телеграф, печать, железные дороги, судоходство — все было им покорно и послушно.

Я не ставлю себе задачею излагать историю этих 52 дней. Моя задача иная: дать характеристику главарей, выяснить, — была ли за ними реальная сила, или то была кучка профессиональных революционеров, прикрывавшихся для достижения своих целей фальшивым флагом. — Был ли то штаб без армии, или, напротив того, его выдвинула значительная по своей численности армия?

На суде было установлено с неоспоримой точностью, что Исполнительный Комитет Совета Рабочих депутатов был избран уполномоченными заводов и фабрик, при чем число этих уполномоченных было свыше трехсот. Я нашел важным для дела продемонстрировать их на суде, дабы была очевидна та боевая сила, которая стояла за Советом. Ходатайство мое о вызове их в качестве свидетелей было удовлетворено, за что подвергся опале старший председатель Палаты Максимович, сосланный министерством юстиции в один из старых департаментов Сената.

Однако, освободиться от них не было возможности и новому старшему председателю Крашенинникову: связывало состоявшееся определение. Группа эта доставила не мало неприятностей суду. — Придя в свидетельское помещение, она первым делом затянула революционные песни. Справиться с оравою в 300 человек судебным приставам не было никакой возможности. Мало того: появляясь у свидетельского барьера, каждый из этих свидетелей начинал свое показание чтением заявления от лица заводских или фабричных рабочих. Приведу, для примера, одно из таких заявлений:

«Мы, рабочие такого-то завода, заявляем Петербургской Судебной Палате, что признаем себя виновными во всех тех преступлениях, которые вменяются в вину нашим товарищам, преданным суду по делу Совета Рабочих Депутатов. В своей деятельности они исполняли только нашу волю, поэтому мы требуем, чтобы Судебная Палата судила нас всех наравне с ними». Подписей на таких заявлениях набралось свыше ста двадцати тысяч, при чем под-

линность их была засвидетельствована заводской администрациею. — Значит, не может быть спора, что это было настоящее рабочее представительство, а не камуфляж.

Первое судебное заседание (под председательством Максимовича) было защитою сорвано, при чем ей удалось добиться освобождения части подсудимых под небольшой залог, — однако, все они, кроме одного, явились ко вторичному судебному заседанию, чтобы разделить участь своих товарищей.

Второе слушание дела состоялось под председательством сменившего Максимовича Крашенинникова, — на редкость талантливого, по природе не злого и не мстительного, но наделенного тяжелым характером — мучительским и издевательским. Допрос им подсудимых, ловля их на мелких противоречиях, презрительное вышучивание были хуже строгого наказания. Он и на этот раз стремился доказать, что Совет — интеллигентский камуфляж и что рабочие не отдавали себе отчета в значении и смысле принимаемых резолюций. Почти каждому из свидетелей-рабочих он ставил трудные вопросы, как например, — что такое учредительное собрание и какое оно может иметь значение для разрешения их профессиональных нужд. К моему радостному удивлению, рабочие давали толковые ответы, свидетельствовавшие о полной сознательности.

Представители партий — социал-демократической и социал-революционной (последней — в лице Н. Д. Авксентьева) обладали лишь совещательным голосом, а потому в баллотировании резолюций не участвовали.

Как ни смотреть на роль Совета, одно вне спора: он был ч и с т о - р а б о ч и м правительством, какого никогда не знала Западная Европа. В явлении этом сказалась с большой силою исключительная одаренность русского человека, постигающего интуициею то, что другим народам дается долговременною выучкою.

Не повезло Совету лишь на председателей. — Первым его председателем был Носарь-Хрусталев, вторым по времени — Троцкий (Бронштейн). В первом гнездилась порочность от

рождения, как то доказала его карьера. Сын бедного крестьянина, он, не взирая на крайнюю нужду, окончил гимназию и университет. Записался в помощники присяжного поверенного и занялся практикою по увечным делам, — не проявив, однако, в этой области ни малейшего бескорыстия. Вступил в социалдемократическую партию, но активности в ней не проявил. Его неразборчивость в средствах сказалась скоро: чтобы проникнуть в Совет, он уговорил простодушного рабочего Хрусталева предоставить ему свои документы. Там, благодаря своему образованию и настойчивости, он не мог не выделиться и добиться без особого труда поста председателя.

Пока революционная волна была высока, казался крупным и он; когда волна незаметно для самих деятелей стала спадать, он оказался маленьким из маленьких. Хотя на судебном процессе он физически занимал первое место, но по существу он был последним из последних. Тому была особая причина. — На предварительном жандармском следствии он растерялся, повел себя трусливо, назвал целый ряд имен соучастников. Не желая компрометировать Совет, товарищи не дезавуировали его открыто, но поставили условием послушание и кротость. С грехом пополам он это условие выполнил. Попав вместе с другими в ссылку, он был там одинок и помощь товарищей ограничилась лишь устройством ему побега. Скрывшись за границею, он не захотел быть рядовым членом партии, считал себя обойденным и пытался создать собственную группу. Однако, из затеи этой ничего не вышло. По возвращении в Россию, он влетел в уголовщину. — Суд его пожалел, как бывшего человека. Окончил он свою жизнь трагической нелепицею: пытался создать в одном из уездов Полтавской губернии «особую республику», за что и был расстрелян по приговору военного суда.

После Носаря председателем Совета стал Троцкий (Бронштейн). Судьба над ним сыграла плохую шутку. Наделив многообразными дарами, она дала ему несносный характер. Тяжело защитнику осуждать своего подзащитного, но истина имеет свои права. По своей натуре Троцкий был анархист-инди-

видуалист и пребывание его в рядах социал-демократии сложный самообман. — Он видел в окружающих его не товарищей по работе, а соперников, которых, во что бы то ни стало, надо смести со своего пути. Отсюда его нелепое соперничество со Сталиным, в котором он видел одни лишь недостатки, сознательно обходя его несомненные достоинства.

Троцкий — перипатетик, знавший много морей и пристаней, а Сталин — однолюб, преданный с юных лет лишь одной революционной идее — сокрушению старого мира. Он может делать диктуемые тактикою хитроумные зигзаги, но не изменит тому, что составляет смысл его жизни. Никогда до него буржуазный мир не имел такого непримиримого врага, в сравнении с которым К. Маркс и даже Ленин — слабняки. Он терпеливо выжидает час, когда раздираемая войнами Европа будет обессилена, когда победители и побежденные равно превратятся в людскую пыль. Тогда он «хлопнет дверью» с такой силою, что «с теремов верхи повалятся, а с горниц охлопья попадают».

Я часто недоумевал — чем Сталин, с его не русским акцентом, мог заворожить и подогнуть под нози свои вся и всех. Наивно об'яснять его безпримерный успех хитроумием или глупым словом «счастье». — Всяк своему счастью кузнец, — а вот такие одаренные люди, как вождь с-р-ов Виктор Чернов или большевик Троцкий оказались плохими кузнецами.

С таким железным человеком судьбе угодно было столкнуть Троцкого — и гибель его была предрешена.

Меня нельзя заподозрить в симпатиях к Троцкому: я сказал о нем то нелестное, что диктовалось правдой-истиной. Но есть еще правда-справедливость, — та самая, следуя которой, официоз французского министерства иностранных дел — Le Temps — воздал Троцкому должное в краткой памятке, посвященной его кончине. Он указал, что у Троцкого громадные заслуги, связанные с его революционной деятельностью.

Выдающийся публицист, пламенный оратор, захватывавший своей страстностью слушателей и ведший за собою народные массы, с'умел сотворить почти что чудо. Как известно,

нежелание измученных солдат продолжать войну послужило сигналом к революции. — Начались убийства начальников, жестокое издевательство над ними, обращение их в конюхов. Все урезонивания Временного Правительства оказались тщетными, его эмиссаров солдаты убивали, отправляли, как некоторые из них выражались, «в штаб Духонина» (зверски умерщвленного начальника штаба Верховного Главнокомандующего). Затем началась самочинная демобилизация: солдаты врывались в поезда, выбрасывали пассажиров, заливали своей толпой все вагоны, садились даже на их крыши, откуда на ходу поезда сваливались, разгромляли станционные буфеты. Казалось, они обратят исходившую кровью Россию в пустыню. В это самое время — повторяю — совершилось непостижимое чудо: Троцкому удалось создать из взбунтовавшихся рабов мощную Красную армию, отправлять ее в бои, одерживать победы. В качестве одного из эмиссаров, посланных Лениным для заключения Брест-Литовского мира, Троцкий, по свидетельству австрийского министра Чернина, отстаивал каждую пядь русской земли, мучительно страдая от натиска разных самозванных представителей «самостийности».

Не следует также забывать, что Троцкий, как и Ленин, как и Сталин, не желая якшаться с немцами и готовые продолжать войну, просили о помощи союзников, но те ответили презрительным лукавством. Тогда прозорливый Ленин, чтобы дать передышку измученной стране, пошел на «похабный», по его выражению, Брест-Литовский мир.

Возвращаюсь к судебному разбирательству дела Совета Рабочих Депутатов.

Начавшись 19 сентября 1907 года, оно шло почти месяц, изо дня в день до поздней ночи. Судьи, подсудимые, защитники были измучены. Тактика подсудимых, боевое их поведение на суде грозили им неминуемой каторгой. Моя задача, как избранного коллегами лидера защиты, была добиться ссылки, из которой не убегают только ленивые. По мере своего влияния, я сдерживал подсудимых, настаивая, чтобы вопрос о вооруженном восстании они обходили молчанием. Между тем,

Троцкий в речи, произнесенной еще до заключительных прений, настаивал на том, что он и его товарищи призывали к вооруженному восстанию, как к единственному средству свергнуть царский строй. Короче говоря, Троцкий нарушил план моей защиты. Было ясно, что и остальные подсудимые в своем последнем слове пойдут по его пути и тем поставят Судебную Палату в необходимость назначить каторгу. Я искал средства лишить их возможности губить себя. Неожиданно представился повод, притом сам по себе несерьезный. — Я получил, через посредство третьего лица, два письма бывшего директора департамента полиции Лопухина. Первое из них заключало копию его доклада Председателю Совета министров Столыпину о погромной агитации департамента полиции, печатавшаго в казенном помещении на отобранном у революционеров станке прокламации, призывавшие к всероссийским погромам, — причем Лопухиным был назван ряд жандармских властей и губернаторов, действовавших в этом направлении. Во втором письме Лопухин предлагал вызвать его в качестве свидетеля для удостоверения того, что только благодаря принятым Советом рабочих депутатов мерам, Петербург был спасен в конце октября от черносотенного погрома. Сознавая, что Судебная Палата, по понятным соображениям, не решится огласить сообщения Лопухина, я в заседании ея заявил ходатайство об оглашении, причем сам огласил полностью содержание представленных мною письменных доказательств. Этим самым была достигнута поставленная мною цель — ознакомить Палату и органы печати со сделанным Лопухиным разоблачением. Вместе с тем я заявил ходатайство о вызове, в качестве свидетелей, как самого Лопухина, так и поименованных им должностных лиц.

Судебная Палата оставила оба ходатайства без удовлетворения. Я попросил перерыва заседания, чтобы дать возможность защите посовещаться с подсудимыми о создавшемся вследствие отказа Палаты положении. На этом совещании, продолжавшемся несколько часов, я настаивал на отказе защиты и подсудимых от дальнейшего присутствования на судебном

разбирательстве. Какую цель преследовал я этим? — На этот вопрос отвечу цитированием нескольких строк из книги Д. Ф. Сверчкова (он же и мой подзащитный), под заглавием — «На заре революции»:

«Грузенберг, не разделявший с самого начала нашей демонстративной тактики, берет слово и решительно высказывается за отказ наш участвовать на суде. Я смотрю на него с некоторым удивлением. По окончании его горячей речи я подхожу к нему и спрашиваю, чем об'ясняется его присоединение к нашей революционной тактике. Он отводит меня в сторону и говорит: «Конечно, я хочу, чтобы вы ушли с суда не по тем мотивам, о которых говорил. Просто я в ужасе от того, что вы наговорили на себя все до сих пор, и страшно боюсь, что в последних словах своих еще такого прибавите, что получите верную каторгу. А без вашего присутствия дело, может быть, обойдется полегче».

В конце концов, возобладало мое мнение. — Уход защиты легко осуществим, но как осуществить уход подсудимых? Они присутствуют на суде не по своей воле, а по принуждению. Я надумал такой способ: после моего мотивированного заявления об уходе защиты, кто нибудь из подсудимых должен заявить от имени всех подсудимых просьбу освободить их от присутствования на дальнейшем судебном разбирательстве, причем об'яснить, что они не желали бы для достижения этой цели прибегнуть к способу, который они сами считают предосудительным: дозволить себе в отношении Палаты какую нибудь грубость, которая сделала бы дальнейшее их присутствие недопустимым.

По возобновлении на следующий день судебного заседания, я заявил Палате, что защита вынуждена сложить с себя полномочия, так как отказ в оглашении важного документа и в вызове его автора свидетелем лишает ее возможности доказать, что деятельность совета была полезна, так как отвратила погром в столице*).

*) Приводим по стенографическому отчету полный текст речи О. О. Грузенберга:

Вслед за мною подсудимый-рабочий Злыднев сделал в корректной форме проектированное заявление. Судебная Палата оценила его надлежаще и распорядилась о недоставлении подсудимых в дальнейшие заседания.

После этого процесс был быстро закончен в пустом зале, при осиротевшей скамье подсудимых. — Коротко: похороны в отсутствии покойника.

Приговор состоялся мягкий: ссылка на поселение. — Характерно то, что из семи судей трое подали за полное

— «Подсудимые пришли сюда только для того, чтобы выяснить правду, всю правду и ничего кроме правды. И нас, защитников, они позвали с собою не для борьбы за себя, а за ту же правду, за свое святое дело на суде. Они начали с труднейшего и беззаветно вскрыли перед вами для исследования все мельчайшие изгибы своей совести и мысли. Без пощады к себе, без малейшего сострадания они лихорадочно бросали вам свои признания, и нет платы свободой и личным молодым счастьем, которой они пожалели для раскрытия правды. И вы, г.г. судьи, оценили эту великую жертву. Каждое слово самообвинения, каждый безвестный дотоле факт вы записали на счет подсудимым. Вопль души попал в судебный протокол и дал возможность представителю обвинения сказать, что после речей подсудимых у него столько обвинительного материала, что вряд ли предстоит надобность в судебном следствии. И что же получили подсудимые взамен?

Широко и как будто свободно развивается судебное следствие, но не с первого ли дня мы встретили отказ в том, что составляет главное содержание дела... Мы просили о вызове гр. Витте, Дурново, военного и морского министров, градоначальника Дедюлина, всех тех, при ком протекала деятельность Совета, всех тех, кто легализовал его деятельность. Нам было отказано в этом. Мы подчинились, сохранив надежду, что оставаясь в процессе, мы все таки с'умеем раскрыть ту истину, ради которой мы сюда явились.

Все мы, вся пресса, даже та часть ее, что враждебно относится к подсудимым, — все должны были признать, что настоящее дело является обратной стороной того попустительства, которое существовало у нас. Совет не был самозванным и не был образован извне: он родился так же, как рождаются весною листья на деревьях, заменяя опавшую осенью старую, отжившую листву. Мы хотели показать это, выявить пред вами, г.г. судьи, и установить, что из всей двухсоттысячной массы петербургского пролетариата сочли

о п р а в д а н и е. Эти голоса принадлежали: губернскому предводителю дворянства графу Гудовичу, волостному старшине и одному из членов Палаты.

Что касается дальнейшей участи осужденных, то из ссылки бежали все, кто желал, а отличный врач Фейт отказался от побега и обзавелся на месте ссылки обширной медицинской практикой.

возможным вырвать эту небольшую кучку людей и сделать ее ответственной за дело массы. Мы просили дать нам возможность доказать это путем вызова свидетелей, — нам отказали.

Коренным вопросом настоящего дела является участие правительственных властей в организации погромов и в черносотенных действиях, ибо Совет Рабочих Депутатов организовал рабочие массы для защиты от этих погромов всей России, в том числе и уже во всяком случае — столицы. Для подтверждения этого участия правительства в организации погромов мы представили неопровержимый документ — письмо одного из высших представителей власти к другому, и просили приобщить его к делу. Нам отказали. Мы просили вызвать в суд автора этого письма. Нам и в этом отказали. И теперь мы вправе сказать, что нас поставили в невозможность продолжать нашу работу по настоящему делу, ибо при таком положении вещей оно грозит тем же, что происходило несколько дней тому назад, когда секретарь суда тихим голосом читал нам слова рабочей марсельезы: «вставай, подымайся, рабочий народ»... Это чтение мало чем напоминало мощно звучавший гимн, раздававшийся в прошлом году на улицах столицы и созывавший миллионы людей. Суд хочет, чтобы и мы тихим голосом в тихом зале по секрету рассказали ему, как произошла в Петербурге революция и как создался и работал Совет Рабочих Депутатов, этот рабочий парламент, первый в мире рабочий парламент...

Мы на это не пойдем. Голос защиты должен звучать громко и мощно — или вовсе не звучать. Вот почему мы и уходим с твердой верою, что ни страна, ни история нас за это не осудят».

РЕВОЛЮЦИОНЕР ИЗ МИЛЛИОНЕРОВ

Н. В. Мешков — революционер из миллионеров. Крепыш невысокого роста с живыми черными глазами, — видимо пошел в бабку-цыганку. Образная, красочная речь волжанина. Нажил талантом и умом громадные деньги, сорит ими, прислуге дает на чай по золотому. Сам же одевается и ест скромнее скромного, не курит и хмельного в рот не берет. Голос смелый, слегка повелительный. Любит революционеров, мечтает о революции, хотя сознает, что она лишит его всего нажитого. Прятал у себя долгое время, рискуя собственной головой, «бабушку русской революции» Брешко-Брешковскую.

Чины администрации ненавидят его, но он смиряет ее щедрыми пожертвованиями их женам и дамам «на благотворительность», при чем уверяет, что в число благотворимых попадают и они сами. Проживает большую часть времени в Перми, где у него дом, построенный по рисункам знаменитого Растрелли. Особенно великолепна громадная, крытая терраса с видом на Каму-«маму». Он называет эту террасу своею палубою, проводит на ней значительную часть дня, рассылает ежедневно десятки телеграмм. Почтовых сношений не признает, считая их слишком медлительными. Там же принимает приветливо посетителей, не делая разницы между богатыми и бедными. Я с удовольствием присутствовал у него при такой сцене. — Сидел у него местный вице-губернатор и несколько именитых горожан. Входит бедно одетая прачка: «А, Хая Ароновна, и вы почтили меня, садитесь, гостем будете» — и сажает ее на свободное место около вице-губернатора. Тот брезгливо жмется. Хая Ароновна сконфуженно садится, Мешков предупредительно подвигает к ней вазу с печеньем.

Внутри дома обстановка нищенская, лишь столовую укра-

шает большой поясной портрет матери. Мешков всегда садится против этого портрета, часто взглядывает на него и вздыхает, хотя умерла она много лет тому назад. Служащие на его пароходах любят его и попасть к нему на службу считается большой удачею: платит много больше нежели другие пароходства.

В первый же день моего приезда, Мешков повез меня знакомиться с городом. Поездка продолжалась не долго: город не велик. Вдруг, с детской застенчивостью он просительно сказал: «поедем к маменьке». Приехали на кладбище. На могиле матери неугасимая лампада. Не успел я разглядеть как следует памятник, как разыгралась трогательная сцена:

«Маменька, хорошая! Вот мой защитник — полюби его, помоги ему меня отстоять».

Через день состоялся суд по делу об участии в забастовке почтово-телеграфного союза. Председательствовал председатель Казанской Судебной Палаты Кривцов — жестокий и грубый. Главным аргументом защиты я взял тезис: Мешков этой забастовки не создавал, а пришел лишь на материальную помощь людям, которые в течение многих лет способствовали его благосостоянию, передавая по телеграфу его бесчисленные телеграммы, — не прийти им на помощь в их беде мог бы только бездушный человек, считающий, что вне оплаты установленного тарифа, для него не существует никаких обязанностей.

Судебная Палата оправдала Мешкова.

Он попросил меня остаться еще на два дня: через день предстояло слушание дела учительского союза. Среди подсудимых было несколько симпатичных ему людей. Защита была несколько труднее: нельзя было ссылаться на прежний мотив, пришлось заменить его чувством дружбы. Судебная Палата вынесла тем учителям, которых я защищал, оправдательный приговор.

Как ни странно, Мешков, вместо признательности, кипел ненавистью к Кривцову и его сотоварищам. Тому была особая причина. В промежутке между обоими делами слушалось дело

мало знакомого ему земского начальника, укрывшего у себя близкое ему лицо, скомпрометированное своей террористической деятельностью. Ожидали, что Судебная Палата назначит год-другой крепости. Она назначила каторгу.

Негодование свое Мешков проявил своеобразно. В день от'езда Судебной Палаты рейс совершал его пароход. Мешков отдал строгий приказ, чтобы, когда явится Судебная Палата, которая не озаботилась предварительным заготовлением места, ей было бы сказано, что все места распроданы.

Не зная об этой мести, я стоял на палубе и перекидывался с Мешковым отрывочными прощальными фразами. Я видел, как приехала Судебная Палата, затем услышал разгневанный голос Кривцова, его свирепое лицо — и догадался о том, что произошло, — однако, я не был в состоянии помочь: не мог я своим вмешательством свести на нет негодование Мешкова, что загублен хороший человек.

Вот последний благородный акт Мешкова из числа мне известных: во время Великой Войны пришлось закрыть Петербургский университет. Мешков поспешил с предложением эвакуировать за его счет университет к нему в Пермь с обязательством оплачивать расходы по его содержание.

Свое обязательство он свято выполнил.

АКТ 21 МАРТА 1917 ГОДА О РАВНОПРАВИИ

Речь в Исполнительном Комитете Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов*).

Несколько дней тому назад еще рабы, а ныне державной волей революционного народа граждане, мы не в силах, не вправе перейти к очередным политическим и общественным задачам, не выполнив властного требования нашей совести — приветствовать в вашем лице русских рабочих и солдат.

Если дореволюционная российская государственность была чудовищно громадной тюрьмой, то самая зловонная, жестокая камера была отведена для нас, шестимиллионного еврейского народа. С раннего детства мы познали позор «жидосостояния». Когда с жаждой знания мы подходили к государственной школе, двери ее оказывались для нас наглухо замкнутыми, и в ответ на детскую мольбу раздавался безжалостный окрик: «подите прочь, школа не для вас, мы впустим в нее лишь несколько счастливчиков»... Ростовщический термин «процент» еврейский ребенок впервые узнавал от официальных представителей государственной школы.

---

*) 21 марта 1917 года Временное Правительство издало закон об отмене всех вероисповедных и национальных ограничений. Все ограничительные законы, временные правила и административные распоряжения, сковывавшие жизнь русского еврейства, были отменены этим историческим актом. В дни после издания закона 21 марта 1917 года делегации от еврейских общественных учреждений во всех городах России являлись в заседания органов революционной власти и приветствовали их. Речь Грузенберга была произнесена от имени такой делегации, 24 марта 1917 года посетившей Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Текст речи взят из газеты «Речь» от 25 марта 1917 года.

Да, старая государственность с детства царапала нашу душу и царапины эти никогда не заживали. Наоборот: с каждым днем жизнь все больше и больше их растравляла и углубляла. Самые беззаботные из нас, самые удачливые жили в вечном страхе, стыде и позоре. Словно каторжные в пути, все евреи были скованы одной, общей цепью презрительного отчуждения. За отдельные грехи отдельных лиц был всегда в ответе весь еврейский народ.

И все же мы всегда любили мучительной, больной любовью, любовью неразделенною нашу великую родину, Россию. За что? За беспокойную душу русского народа, за ее вечные порывы, бессонные искания, за ее неистребимое народолюбие. Русские мечты, русские книги, русские друзья, с их неутомимой жаждой страдания за вселенское счастье, заполонили наши сердца и привязали нас к бесконечно любимой русской земле.

Этой любви нашей не могли умалить даже кровавые бани, которые устраивала правительственная власть, будя в отбросах населения кровожадные инстинкты. И погромы нас не озлобили, не уединили. Мы верили, мы хотели верить, что каждый удар, нам нанесенный, отзывался в сердце русского народа и болью, и смятеньем.

Но брызги крови наших отцов и матерей, наших сестер и братьев, пали на наши души, зажигая и раздувая в них неугасимый революционный пламень. Говоря языком старой власти, я скажу: мы щедро отдали революции огромный «процент» нашего народа, почти весь его цвет, почти всю его молодость. Много лет, из года в год, изо дня в день она сражалась под общим красным знаменем. Она смешала свою кровь с вашей и вместе с русскими борцами шла на плаху, на каторгу, в тюрьмы. Так же, как и вас, и ее не смогли сломить безграничные страдания. Так же, как и вы, она бестрепетно и гордо входила на эшафот, уносила с собою в рудники и тюрьмы горячую веру в правоту и торжество неумирающих идей. И когда в 1905 году восстал революционный

народ, в его ряды с неудержимой силой потекли без счета еврейские борцы.

За 17 октября на другой же день русский царизм ответил нам жестокими повсеместными погромами. Его слуги решили потопить революцию в еврейской крови и закидать ее грязью злых наветов. С тех пор наша жизнь стала еще мрачнее, еще безысходнее. За революционную еврейскую молодежь стали жестоко мстить отцам и дедам.

У народа, лишенного всех человеческих прав, не устыдились отнять его последнюю святыню, его веру. Под председательством не судьи, а министерского наймита, пять недель в зале суда по делу Бейлиса распинали нашу веру, наши священные книги. Но русский народ в лице своих присяжных-крестьян, хотя и подобранных, нанес жестокий удар царизму: он оправдал невинного.

Прихвостни царизма, однако, не унялись. На высокий народный под'ем в защиту родной земли, на которую с самозабвением поднялись вместе с вами наши братья и сыновья, царское правительство, заметая свою бездарность и измену, ответило новым бесчеловечным обвинением евереев: в измене.

Обескровленный, обнищалый и заплеванный стоял еврейский народ над своим разоренным пепелищем и беспомощно искал ответа: за что его оклеветали? Русский народ дал категоричееский ответ, смывший все наветы. Он дал ответ актом 21 марта о равноправии.

Товарищи! Да будут благословенны наши общие борцы и мученики. Да будут благословенны наши общие страданья, наши общие обиды. Они закалили наш дух, сделали его несокрушимым. Вместе с вами мы давно познали мудрость слов художника-мыслителя: трус умирает несколько раз, мужественный только однажды. Так будем же мужественны. Не отдадим нашего священного завоевания — нашей общей свободы никому, никому, никогда. Сплотимся вокруг нее железным кольцом. Кто раз выпрямился, того никто уже не согнет.

РЕДАКТОРЫ ПОД СУДОМ

Среди моих подзащитных было немало редакторов, особенно в период 1905—1907 г.г. Тогда, со времени «весны» м-ра внутр. дел Святополк-Мирского, погреться на солнышке свободной печати потянулось немало фактических редакторов, скрывавшихся дотоле не только в личных, но и общественных интересах за спинами никому неведомых Ивановых.

Посидели на скамье подсудимых и П. Н. Милюков, и проф. В. М. Гессен, и И. В. Гессен, и К. И. Чуковский, В. Г. Короленко и некоторые другие.

Среди теперешнего состава редакции «Сегодня» — двое бывших моих подзащитных: Б. О. Харитон и Б. С. Оречкин*).

Первого, в качестве редактора газ. «Речь», мне довелось защищать дважды. Первое дело сошло благополучно: оправдали. По второму — я защищал его совместно с моим товарищем В. А. Маклаковым: мы оба вместе сделали то, чего каждый из нас мог бы, вероятно, добиться и в отдельности: Б. О. Харитон угодил в Кресты.

Б. С. Оречкина я защищал в большевицком трибунале ранней весною 1918 года (незадолго до выезда моего вследствие болезни в Украину, а оттуда — в безконечное скитальчество).

Б. С. Оречкина, вместе с другими редакторами, судили за контр-революционные статьи. Помню, что суд происходил за Невою, во дворце, если не ошибаюсь, вел. князя Петра Николаевича. Председательствовал Зорин, обвинял Володарский. Зорин произвел на меня симпатичное впечатление умом, тактом и безупречной деликатностью в отношении подсудимых и их

---

*) Статья эта была напечатана в газете «Сегодня» (Рига) от 29 сентября 1929 года.

защитников. Он, насколько я мог проследить по газетам, как-то сошел со сцены: его, очевидно, могли терпеть лишь в первые месяцы большевизма, когда еще не возобладал курс жестокости и безумия.

Помню и заседавших с ним судей — рабочих и солдат — простых русских людей, заснувших в канун большевицкой революции ягнятами, а проснувшихся волками. Особенно сильное впечатление произвела на меня входившая в состав суда женщина-работница: немолодая, некрасивая, но с удивительными глазами, в которых светились печаль и напряженный страх не понять, не доглядеть чего-нибудь из происходящего на суде.

Защита прошла благополучно: Б. С. Оречкин, как и все прочие редакторы, был отпущен с миром, вероятно, только для того, чтобы на другое утро он принес мне чудные цветы, по которым я истосковался . Тогда же был снят арест и со всех приостановленных «буржуазных» газет. Удивленная публика долго не расходилась. Ко мне подошел обвинитель — входивший тогда в славу Володарский. Он сказал мне, со злобной грубостью, являвшейся лишь продолжением его вызывающего поведения на суде — «Не радуйтесь, — скоро опять встретимся».

Я ответил ему: «В рассчете на повторение вашего сегодняшнего успеха, я этой встрече буду рад. А теперь вот что: через несколько месяцев, наверное, получу от вас из тюрьмы письмо столь знакомого мне содержания: Глубокоуважаемый Оскар Осипович, — в виду предстоящего такого то числа суда надо мною, прошу вас принять на себя мою защиту. — И я отомщу: я буду вас защищать!»

Володарский помолчал с минуту и совершенно другим тоном — тоном обреченного — ответил: «Благодарю вас, но защищать меня вам не придется: со мною разделаются без суда». Первое его предсказание не оправдалось: обошлось без суда; недели через две все буржуазные газеты были закрыты навсегда, в административном, как выражались в ста-

рину, порядке. Второе предсказание сбылось: как я прочел уже в эмиграции, Володарский был убит на улице.

Из подсудимых — редакторов остановлюсь сегодня еще на двух, наиболее мне дорогих — на профессоре В. М. Гессене и В. Г. Короленко.

С Владимиром Матвеевичем Гессеном я познакомился за несколько лет до суда. Вместе с ним, И. В. Гессеном, А. И. Каминка и др. я был в числе основателей приобревшаго вскоре большой авторитет журнала «Право» и членом, в первые два года, редакции. С Влад. Матв. вскоре сблизился. Так же, как и все, знавшие его, я полюбил его за редкую доброту, неисчерпаемую отзывчивость на чужую беду и чисто-детское, радостное восприятие жизни. Для Вл. Матв. не существовало плохих людей и он откликался на всякий зов, откуда бы он ни исходил. Откликался просто, тепло, не давая нуждающемуся в его помощи почувствовать, что он «благотворит»; он всегда — и, при том, без малейшего над собою усилия — сознавал, что надо исполнять пунктуально завет: — «Просящему дай». Его кипучий темперамент сжигал быстро всякую несправедливость и обиду, ему причиненные, — и у меня, помнится, очень скоро после нашего знакомства вырвалось определение: у Влад. Матв. самая грубая обида амнистируется не далее, как в 24 часа. Он был поэтом не потому, что писал стихи (он собрал их в небольшую книгу), а потому, что воспринимал мир, как поэт. Вот к кому приложимы, с небольшим изменением, слова Некрасова: «Наука мешала ему быть поэтом, а песни мешали ему быть ученым». Он изведал и политику в качестве видного члена центрального комитета партии «Народной Свободы», был он и членом второй Госуд. Думы от Петербургской губернии, — но политика претила ему: слишком уже чист был он душою. Его ученые труды (по государственному праву) не достигли профессиональных вершин, — но лектор он был замечательный; его лекции в военно-юридической академии, на высших женских курсах, в Александровском лицее и в университете привлекали неизменно множество слушателей: редкое

сплетение в профессоре знаний, ораторского дара и сердечной теплоты покоряли с первых же слов.

По должности ответственного редактора «Права» он попал под суд за перепечатку известного воззвания Совета рабочих депутатов, выпущенного через несколько дней после ареста членов совета, по распоряжению премьер-министра Витте. Добиться его оправдания стремительной атакою было немыслимо, в виду предшествующих обвинительных приговоров над целым рядом редакторов; — пришлось вести окопную войну.

Надо было задержать слушание дела до особо благоприятного момента, который дал бы возможность добиться изменения твердо сложившейся судебной практики. Это, к счастью, удалось. В. М. Гессена судили — С. Петербургская Судебная Палата с участием сословных представителей, — помню твердо, в первый день заседания Первой Госуд. Думы. Председательствовал старший председатель Судебной Палаты, Иннокентий Клавдиевич Максимович (прозванный сослуживцами за постоянную изворотливую лживость Иннокентием Правдивым). У него был темперамент лягавой, но к его огорчению, нюх дворняжки. Он уверовал в счастливую звезду кадетских лидеров, а потому, вопреки закону, оправдал Владим. Матвеевича, произнесшего, к слову сказать, превосходную речь.

Когда весною 1918 года я, больной, уезжал на тепло в Киев, забежавший проститься со мною В. М. Гессен поразил меня своим крайним исхуданием: голодал он, как мы все, — но переносил он голод хуже нас. Через год прочел с болью известие о том, что он скончался от голодного тифа, кажется, в Иванове-Вознесенске, куда поехал в погоне за куском хлеба (в буквальном смысле этих слов), читать лекции.

О В. Г. Короленко. — Встает в памяти его первый процесс. Переполненный публикою зал Особого Присутствия С.-Петербургской судебной палаты. Короленко на скамье подсудимых по обвинению в помещении в редактируемом им «Русском Богатстве» статьи («Федор Кузьмич» Толстого), оскорбляющей память предков царствующего монарха. Подымается для

произнесения речи прокурор. Настораживаюсь, чтобы не пропустить ни одного из обвинительных доводов. Проходит минута — другая, томительные, долгие. Прокурор стоит безмолвный, слегка побледневший, — и, наконец, еле слышно начинает: «Не скрою, не могу скрыть от вас, г.г. судьи,что мне тяжело обвинять того, кому я обязан многими прекрасными минутами»... И хрипло, едва сдерживая волнение, продолжает: «ведь у меня под подушкою лежали и «Лес шумит», и «Слепой музыкант» — и я, пробуждаясь ночью, просыпаясь утром, жадно впитывал в себя благоухание и музыку этих поэм. Что говорить: то же самое переживали, вероятно, и вы, — если не все, то некоторые». Затем, конечно, последовало — «но»... и обвинительная речь, — однако, пугливая, сконфуженная. Состав преступления формально был на лицо, но судьи-читатели, захваченные признанием своего сотоварища, постеснялись на этот раз осудить того, кто дал им когда-то радость.

Еще более памятен его второй процесс, — памятен по тому горю, которое он мне причинил.

За статью С. Я. Елпатьевского («Люди нашего круга») Короленко, в качестве редактора «Русского Богатства», был привлечен к суду спб. судебной палаты по обвинению в возбуждении классовой вражды (129 ст.). Состав преступления, согласно практике того времени, был на лицо. Между тем я знал, что Короленко прожил весь год в Полтаве, и статьи Елпатьевского, до появления ее в печати, не видал. Я запасся соответствующей справкой адресного стола и спокойно ждал судебного заседания. За несколько дней до суда я пригласил Влад. Галакт. на совещание и, показав справку, сказал:

— На этот раз буду защищать вас не только без волнения, но со скучающим недоумением. Защита моя проста: без меня меня женили, а я на мельнице был. Вы можете избавить себя даже от присутствования на этом чисто-формальном разбирательстве, так как обвиняетесь по такому пункту 129 ст., который не требует личной явки.

Короленко в ответ:

— Ну, нет... Я не считаю себя вправе уклоняться от ответ-

ственности по формальным основаниям. Я — редактор; я — и в ответе за все, что печатается в моем журнале.

— Вы и будете в ответе как редактор, допустивший напечатание статьи по неосмотрительности. За это полагается незначительный штраф, а не крепость трех лет, которая грозит вам по обвинительному акту. Я понимаю, Владимир Галактионович, ваши чувства; — но за меня голая правда, а за вас голый принцип.

— Правда то, что я статьи Сергея Яковлевича не читал, но правда и то, что я обязан ее читать, — значит, читал.

Настал суд. Я и Короленко произнесли речи в защиту статьи Елпатьевского. Судебная Палата долго совещалась: состав судей был совестливый. Вынесли вердикт: две недели заключения в крепости.

Я перенес дело в Сенат. Как апелляционное, оно подлежало пересмотру во всем об'еме. Переговорил перед заседанием с товарищем обер-прокурора, показал ему справку адресного стола. Он согласился, что она меняет дело, — но без пред'явления ее сенату ничего нельзя сделать: не на что опереться. В своей обвинительной речи товарищ обер-прокурора вскользь заметил, что, если-бы были доказательства, что редактор журнала ознакомился с инкриминируемой статьею по напечатании ее, то он отвечал бы лишь за неосмотрительность.

Я сказал свою безнадежную речь. Встал Короленко. Не знаю — почуял ли он в речи обвинителя оправдательную нотку, но свое последнее слово он посвятил, главным образом, уверению, что статью Елпатьевского он читал и вполне с нею солидарен. Говорил Короленко, с большим под'емом, с некоторым раздражением, постукивая изящной, небольшой рукой по столу.

Сенат не долго совещался: приговор утвердили. Я дал себе слово, что Короленко сидеть не будет. Ухищрениями, ходатайствами, порою — попрошайничеством я оттягивал отбывание наказания. Я надеялся на манифест, о котором, почему то, ходили слухи, правда, смутные. Судьба сжалилась надо мною: 21 февраля 1913 года последовал указ об амнистии. Указ этот

порадовал меня за многих, — но, в особенности, за Короленко: спали с плеч давившие меня две недели.

Чуя ли мои переживания или памятуя мою свирепую оценку его ораторского таланта, Владимир Галактионович поздравил меня с «монаршей милостью» в письме от 16 марта 1913 года:

«Итак, мои тяжкие и нераскаянные преступления, предусмотренные 128, 129, 1034 и прочими статьями, ныне монаршей милостью приведены в забвение. В том числе пошли на смарку и честно заработанные, собственными моими ораторскими трудами «две недели!». С этими двумя неделями поздравляю себя, а с остальными Вас: монаршая милость избавила Вас от неблагодарного труда защищать столь преступного суб'екта. Навсегда ли? — Бог знает. Во всяком случае, на известное время. И то благо. Спасибо, дорогой Оскар Осипович. Авдотья Семеновна тоже очень благодарит Вас за своего столь долговременно подсудимого супруга. Желаем столь же успешного исхода в других, более еще трудных делах».

О «ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ» В. Г. КОРОЛЕНКО*)

Рассчитанное на 40 томов, полное посмертное собрание сочинений В. Г. Короленко**) не могло быть доведено до конца. Причина не в недостаточной энергии редакционной коллегии, а в малости отпущенных казною для такого большого дела средств.

Однако, надо порадоваться, что осуществлено самое важное: кроме нескольких томов сочинений Короленко, выпущены его «Дневники» (6 томов) и «Письма» (2 тома). Вышли, кроме составляющих предмет этой рецензии «Записных книжек», три тома «Истории моего современника». Эта «История» — одно из самых крупных и значительных произведений автора: в ней описана его жизнь (художественная автобиография).

«Записные книжки» — прекрасно изданный том в 525 страниц — охватывают двадцатилетний период (1880-1900). Вместе с «Дневниками» они дают полное представление об интимной стороне духовной жизни писателя.

Тут и Сибирь (административная ссылка), и Нижний-Новгород (работа по помощи голодающим), и Румыния (там жили близкие Евдокии Семеновны Короленко люди), и Уральск (собирание материалов для исторической повести из времен Пугачевщины, — под заглавием «Набеглый царь»; Короленко не только разработал детальный план, но написал две вполне законченные главы, а в письме к жене, от 28 авг. 1900 года, дал еще одну большую главу).

---

*) «Послед. Новости» от 8 марта 1936 г.

**) В. Г. Короленко. «Записные книжки» (1880-1900). Редакция и примечания С. В. Короленко и А. Л. Кривинской. Предисловие А. Г. Горнфельда. С рисунками автора.

Рецензируемая книга начинается обширным введением почтенного критика покойного журнала «Русское Богатство» А. Г. Горнфельда. Работа старательная, но вряд ли правильно задуманная. Словно клинический прозектор, препарирующий труп, критик, задавшись целью проследить творческий процесс Короленко (шуточное ли дело!), рассек на мелкие части живую ткань авторских повествований. Внешне вышло местами стройно, но внутренне — получилась анатомическая мелочь. Зато «примечания» Софьи Вл. Короленко и А. Л. Кривинской — без малого 100 стр. мелкого петита — сделали бы честь выдающемуся и, притом, опытному библиографу: на стороне этих двух женщин еще и благоговейная любовь.

Заниматься паразитарною «критикой» этой тихой, доброжелательной ко всему живущему, книги не могу и не смею: Короленко можно либо целиком принять с благоговением и благодарностью, либо целиком же обойти почтительным молчанием, как должны это делать те, кто считает святость спутницей творческого слабосилия. С меня довольно и того, что, как и миллионы, я жил с ним в одну эпоху и пользовался его бодрящей дружбою.

Спрашиваю себя: какое из произведений Короленко наилучшее? Наилучшее: его жизнь.

Несмотря на размеры, на многочисленные события, нет в этом произведении ни одной нарочитой, надуманной строки. Короленко нельзя делить на Короленко, как писателя, как общественного деятеля, как человека. Была полная слиянность, был лишь один цельный, неделимый Короленко.

Быть поэтом, — по крайней мере, таким, каким был Короленко, значит раствориться в миллионах одноязычных, расплескаться по безграничной русской земле, чтобы потом, собрав себя воедино, петь про неволю, про тусклое бытие, про короткую радость мечты. Он побывал на дне русской жизни, изведал тюрьмы, этапы, ссылку, исходил даже те углы Сибири, где ворон единственная певчая птица, — и все же вынырнул на поверхность бодрый, любящий, радостный. Короленко не обиделся на жизнь, не озлобился: в сумраке

тюрем и этапов он зажигал яркое солнце поэтического вымысла, молчание неволи он красил бодрою песнью. Он знал, что с другими мы проводим часы, а с собою весь свой век. Значит, надо жить так, чтобы прежде всего нравиться самому себе, быть всегда себе равным.

Иначе жизнь не в жизнь, иначе муки Пушкина. «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю»...

Политическая программа Короленко не шла дальше конституционной монархии английского типа. Когда в 1905-1906 г. члены редакции «Русского Богатства» образовали легальную партию «народных социалистов», Короленко — вдохновитель и руководитель редакции — не вошел в эту партию. Он попрежнему остался вне партии. В первые же дни февральско-мартовской революции Короленко охватила тревога за участь России. Он писал мне, что все неясно, неверно, но бодрил себя приметою: «бывает по ранней весне, — утро встает дымное, в тумане, а потом постепенно светлеет и сменяется погожим днем».

Склонный к мирному прогрессу, дорожа жизнью русских людей — друзей и врагов, — Короленко боялся социальной хирургии — революции. Значит ли это, что он был робок? Против такого предположения вся его жизнь и деятельность. С редкой настойчивостью и самозабвением боролся он против всякого проявления беззакония, произвола и жестокости. Тут он середины не знал, — он шел до конца, мужественно принимая на свою грудь карательные удары.

Попав без вины, по ошибке администрации, в ссылку, Короленко отказался от принесения в 1881 г. верноподданнической присяги восшедшему на престол императору Александру III. Свой отказ он не преминул мотивировать письменно: «...законным властям дано опасное право, — право произвола, и жизнь доказала массой ужасающих фактов, насколько этим правом злоупотребляют; произвол порождает разлад между законным требованием и требованием

совести, почему, руководствуясь в данном случае указаниями совести, отказываюсь от принятия присяги в существующей форме».

За этот отказ и прямодушную мотивировку Короленко дорого поплатился: его перевели из европейской ссылки в Восточную Сибирь, на Амгу.

Исторический курьез... Как видно из «Записных книжек», Короленко и в ссылке мечтал о примирении между страною и верховной властью. — «Неужто»,—записывает он в сибирской «записной книжке» свою думу, — «существует исторический закон, по которому дворцы способны производить только тиранов?».

А из документов, ставших известными только после революции, оказывается, что чарующей власти поэзии Короленко не избежал и суровый вершитель судеб 120-миллионного народа, Александр III. Ознакомившись в 1889 г. с некоторыми из произведений Короленко, он так был увлечен его талантом, что повелел министру внутренних дел, шефу жандармов Дурново дать ему обстоятельную справку. На поднесенном ему докладе, состоявшем сплошь из справок департамента полиции, он начертал: «по всему этому видно, что личность Короленко неблагонадежная». И все же, не совладав с обаянием этой неблагонадежной личности, с грустью приписал: «А не без таланта!».

В «Памятных книжках» немало законченных набросков высокой ценности, встречаются и отрывки, успешно соперничающие с лучшими из опубликованных еще при жизни писателя произведениями.

Да будет мне дозволено привести несколько выдержек: Короленко, и мертвый, постоит за себя лучше, чем его зажившийся защитник.

I.

День, когда в далекую сибирскую Амгу приходит почта. Приходит она лишь раз в месяц. Короленко, то и дело, взбирается в нетерпеливом ожидании на верхушку юрты.

«На небе стоит полная луна, сверкают холодным блеском

звезды. Вверху ясно. Ни облачка. Но скоро и луна, и звезды потонут в густом тумане, который внизу уже ползет на Амгу вместе с крепнущим морозом. Он покрыл уже стоящие кругом на горах лиственницы и разлился по лугам, закрывает и глотает бедные юртенки Амги. Она еще не заснула. Во всеоружии становится она навстречу морозу. Из всех труб подымаются громадные белые столбы дыма. Целая рать их клубится и слегка колышется в воздухе. Сквозь оконные льдины переливается свет камельков».

Приходится оборвать, из за экономии места, эту прекрасную страницу. Страстно-сдержанная, подмороженная сибирской пургою, она просится в антологию русской лирики.

II.

Выдержка из той же сибирской «Записной книжки». Пусть она устыдит тех немногочисленных в эмиграции лиц, которые утверждают, что все герои Короленко писаны на одно лицо, и что разговор они ведут одним и тем же языком, — языком автора.

«В Михайлов день пришлось заночевать на Скокинской станции. По деревне идет гульба. — Помочишку составили, лодки вырубать из торосу», — а у соседей праздник настоящий.

В избу входит, покачиваясь, девочка лет десяти.

— Дуня пришла, господа! Да никак пьяна? — с веселым смехом окружают ее женщины хозяйской семьи.

— Девять рюмок выпила, — заявляет девочка, — у тятьки-то...

— Кто же тебя довез сюда-то?

— Кто довез: сами пришли...

— Девять-то верст... Хлопуша!

— Чего мне хлопать-то.

Девочка берется за виски. Очевидно, хмель взял свое, и бедный ребенок не протрезвился еще, несмотря на девятиверстное путешествие по глубокому, «убродному», свеже-

павшему снегу. Ее расспрашивают, находя, повидимому, естественным, что ее хорошо угостили.

— Ну... да как не напьешься... чать у отца была... не у кого...

— Чем же тебя потчевали?

— Аладьям, мясом, дрожжалкой, крупой, да яблочком, да рыбам, да пирожком.

— Хорошо же... А кто вино подносил?

— Да матушка и подносила...».

Приходится оборвать и эту изумительную страницу.

III.

Из нижегородской «Записной книжки», за 1888 год.

На пароходе, полузарывшись в сено распряженного воза, разглагольствует крестьянин.

«Капитан слушал эти излияния мужика. — «Дурак ты, — сурово сказал он, когда тот остановился. — Дурак. Теперь вот терпишь. А старость придет, что станешь делать?». Это вмешательство, повидимому, нисколько не удивило мужика.

Он поднял свою лохматую голову, выглянул из телеги, присмотрелся, кто говорит, и в голосе его, когда он ответил, звучало какое-то радостное лукавство. — «Старость, говоришь? Да мне бы только до старости-то дотянуть». — «Вот как?», — удивился капитан.—«То-то вот. Тогда уж я тягло-то с шеи. А! А ты как полагал? Тогда уж мне по миру можно, по окнам. Неужто, думаешь, не подадут? Пода-ду-ут, брат. Потому старик. Теперь, вот, главная сила, чижало. А на старость я, брат, надеюсь».

Обрываю выписку.

**
*

Полночь Рождества 1882 г. В сибирском наслеге, в холодной и дымной юрте Короленко планирует святочный рассказ. Он предается мечтам о мире между людьми и жалости друг к другу. Вдруг он спохватывается; такие мечтания не к

лицу политическому ссыльному. Он обращается мысленно к своим товарищам.

— «Простите мне, товарищи, и вы, погибшие, погибающие, и те, кто еще погибнет в борьбе за исповедуемые принципы, — простите мне то, что вы, называете идеализацией принципа, — простите, если я грубо, жестоко, непростительно ошибся, если все то, что я написал, — невозможный, невероятный бред. И тем не менее... неужели все это невозможно?».

Ошибся конечно, не Короленко: в вопросах совести ошибаться он не мог. Ошиблась жизнь.

По профессии защитника, я, благодарение судьбе, сблизился со многими замечательными людьми. Однако, никто из них не заслонил в моем сознании облика Короленко. Сначала — он, потом громадный пустырь, — и только за ним, за пустырем этим, идут другие, сколь почтенны они бы ни были. Сравнивать их с Короленко не могу: он—святой во грешниках, а они — грешники во святых.

ОБ УМУЧЕННОМ

Т. Г. ШЕВЧЕНКО*).

Шевченко для Украины то же, что Пушкин для России, что Мицкевич для Польши и Литвы. Все трое заплатили дорогую плату за свою избранность, но на Шевченку выпал исключительно тяжелый удел: доля раба и жажда свободы.

Украинцы не могут пожаловаться, что он не был достаточно оценен культурной частью России. Она включила его в число своих наиболее ценимых поэтов и доказала любовь не на словах только, а и на деле.

Однажды украинский помещик Энгельгардт, вернувшись с бала и застав своего дворового казачка Тараса за копированием гравюры, изображавшей героя двенадцатого года Платова, надрал Шевченко уши, а на другой день приказал кучеру отодрать его на конюшне. Однако, страсть к рисованию пересилила страх порки: — Шевченко продолжал писать. Энгельгардт решил извлечь из этой страсти выгоду и отдал Шевченко внаймы на 4 года живописных дел мастеру Ширяеву, в Петербурге. Шевченко, пользуясь белыми ночами, убегал в Летний сад и там срисовывал статуи. За одним из таких сеансов его застал художник Иван Сощенко, пленившийся ярко-выраженным талантом 14-летнего подростка. Он приучил его писать акварели. Пошло удачно. Сощенко свел его в Академию художеств к знаменитому Брюлову. Тот признал в Шевченко крупный талант и включил в число своих наиболее любимых учеников. Брюлов так заинтересовал талантом Шевченко поэта Жуковского, что оба порешили выкупить его из крепостной зависимости. Брюлов написал портрет Жуковского, а тот, пользуясь добрым вниманием к нему императрицы,

*) «Последние Новости», 16 и 21 декабря 1938 г.

пустил этот портрет в лотерею и на вырученные 2500 рублей выкупили Шевченко из рабства. Свободу он познал в 1836 году, т. е. только на 24-ом году жизни.

Таким образом, волю добыли великому поэту не богатые украинские помещики, но русские люди. Мало того. Когда Шевченко был на вершине славы и, вернувшись из ссылки, прославил своим поэтическим даром Украину, его родные братья и сестра оставались еще крепостными. Как это мучило Шевченко!

В написанной, по просьбе редактора «Народного Чтения» А. А. Оболенского, автобиографии, у поэта вырывается стон: «Воно (его жизнь) жахливе, воно тім жахливіше для мене, що мої рідні брати и сестра ще и досі кріпаки*). Так, пане Добродію, вони ще й досі кріпаки».

Их освободил лишь общий манифест 19 февраля 1861 года.

Чтила-ли русская интеллигенция память Шевченки и после его смерти? Пусть на это ответят опять-таки факты.

В 1911 году — в пятидесятилетие смерти Шевченко — Академия художеств, с проф. Мате во главе, прибила в той комнате, где работал Шевченко, мемориальную мраморную доску, выставила уцелевшие его работы, а, затем, после речи М. М. Ковалевского, Мате прочел реферат о художественном творчестве бывшего воспитанника Академии. Академия наук, в свою очередь, в большом зале, переполненном публикою, почтила докладами память его, как поэта. Так реагировала русская интеллигенция.

Юбилей же 1914 года — столетие со дня рождения поэта — показал, как дорога память о нем широким массам. Всюду на Украине были торжества, сборы на памятник и стипендии. Министр внутренних дел Маклаков разослал циркуляр, воспрещавший название улиц и школ именем Шевченко, как это проектировалось во многих украинских городах. Запретил

*) Кріпаки — крепостные.

и сбор пожертвований на фонд его имени. Этого не стерпела даже правая Государственная Дума. Негодование вылилось в сильных речах не только Милюкова, Родичева, Дзюбинского и других представителей левых партий, но горячую речь произнес и октябрист граф Капнист.

— «Шевченко, — сказал он, — дорог нам, прежде всего, как поэт, как певец нашего родного края, и заставить нас замолчать в день его чествования более, чем странно». Не вытерпел и член национальной партии (прозванной «партиею национального бесстыдства») крестьянин-депутат Мерщия.

«Всему бывает предел», — сказал он. — «Все то, что говорилось с этой трибуны и писалось в газетах о популярности Шевченки среди украинского народа, — все это далеко недостаточно для того, чтобы иметь полное представление о том, как в действительности чтит и любит своего поэта украинское крестьянство. Всему бывает предел! Можно не давать народу просвещаться, закрывать на Украине библиотеки, просветительные общества. Можно из'ять из библиотек популярные издания по сельскому хозяйству и медицине только потому, что они написаны на народном языке, можно запрещать на школьных елках читать детям переведенные на материнский язык басни Крылова, можно запретить в Киеве поставить монумент Шевченке, — но никакая человеческая сила не может запретить народу любить того, кого он обожает».

Существует течение, старающееся доказать, что Шевченко колебался в выборе языка для своих произведений; подтверждение этому ищут в том, что несколько своих произведений он написал на русском языке. Не говоря уже о том, что произведения эти далеко не из лучших, Шевченко обожал свой родной язык, а писать хорошо можно лишь на том языке, который ощущаешь, как родной.

Вот письмо Шевченко к брату своему Никите, — письмо, написанное в 1839 году, когда он был учеником Академии художеств и никаких обид, кроме недоедания, не терпел.

Шевченко умоляет брата: «Будь ласкав, напиши до мене так, як до тебе пишу, не по московскому, а понашему,

Бо москалі чужі люди,
Тяжко з ними жити,
Немае з кім поплакати,
Ні поговорити.

Так нехай же я хоть через папір почую рідне слово, нехай хочь раз поплачу веселыми слезами, бо мені тут так стало скушно, що я всяку нічь тілько и бачу во сні що тебе, Керелівку та рідню, та буряні (ті буряні, що колись ховався од школи), весело стане, прокинусь, заплачу. Ще раз прошу, напиши мені письмо та по своему, а не по-московскому».

Мне слышится: ага, значит, Шевченко не любил Россию! Как мы затаскали священное слово «люблю». — Люблю папу-маму, люблю отбивные котлеты, люблю жену, друзей, люблю после бани холодный квас. Разве так можно ставить вопрос, когда речь идет о родной стране, о родном народе? Вот завет Шевченко украинским писателям, — стало быть, в первую голову самому себе. — Завет важный, торжественный — **«А на москалів невважайте, — нехай воны собі пишут по своему, а мы — по-своему: у іх народ і слово, і в нас народ і слово, — а чіе краше, нехай судят люди»**. Это — единственно правильная и справедливая постановка национального вопроса. Писатель, который так добросовестен, обязывает и нас к особой добросовестности.

Это тем более обязательно, что один из главных творцов русской художественной прозы — Гоголь вот что написал о России в письме к Максимовичу: «Бросьте, в самом деле, кацапію, да поезжайте в гетманщину. Дурни мы, право, как рассудишь хорошенько! Для чего и кому мы жертвуем всем?».

Несомненно, Украине предстоит крупная роль: Возвращается ветер на круги свои! Это признают такие выдающиеся историки, как Милюков и Платонов. Последний, несколько лет

тому назад, говорил Изгоеву — журналисту серьезному, несклонному к сенсациям, что великорусский народ издержал себя на построение великого государства, и что дальнейшие судьбы страны будут зависеть от юга. Максим Горький, постигший интуитивно смысл русской истории, откликнулся на анкету, произведенную журналом «Украинская Жизнь», следующим образом:

«Мое знание великорусской народности не дает мне уверенности в том, что эта народность обладает исключительными талантами в деле государственного строительства. Говорят: «именно эта народность создала обширнейшее государство в мире». Но требуется доказать, — эта ли единственно. Я думаю, что не одна эта, ибо в деле создания русской культуры Киевская Русь принимала участие не меньшее, чем северяне, и на протяжении всей истории происходил и происходит братский обмен духовных сил».

II.

Я озаглавил свою памятку словами «об умученном» — не для базарной приманки.

Судите сами, — можно-ли назвать иначе? Вместо собственных пояснений, приведу лишь два письма Шевченка в русском переводе, так как, быть может, приведенные выше цитаты на украинском языке не для всех удобочитаемы.

1) Письмо Андрею Лизогубу от 22 октября 1847 года из Орской крепости: «На другой день, как я от вас уехал, меня арестовали в Киеве, на десятый — посадили в Петербурге в каземат, а через три месяца я опомнился в Орской крепости в серой солдатской шинели. Скажите, — не диво ли это? Теперь гуляю... пусть никому не приведется так гулять! Какая обида, что я не оставил своих рисунков у Фундуклея (в Киеве). А теперь мне строжайше воспрещено рисовать и писать — мука и только! Читать не дают. Брожу над Уралом и — не плачу, но что-то худшее творится в моей душе».

2) Письмо того же времени к приятельнице — княжне Варваре Николаевне Репниной. В нем тот же жуткий рассказ про арест и наказание. «Теперь живу в Киргизской степи, в убогой крепости Орской. Вы бы расхохотались, если бы меня увидели. Представьте себе неуклюжего гарнизонного солдата, распатланного, небритого, с преогромными усами... Но что делать? Такова воля Господня. Должно быть, мало я страдал в своей жизни. Но правда то, что прежние мои страдания против теперешних — детские слезы. Горько, нестерпимо горько! А ко всей этой беде строжайшее запрещение рисовать и писать. А тут так много нового — киргизы такой красочный, оригинальный и наивный народ, — так и просятся под кисть! Дурею на них глядючи. Местность тут невеселая, однообразная: убогая речка Урал — Ор, голые серые горы и бескрайняя степь киргизская. Выхожу иногда за крепость к караван-сараю или до менового двора, где бухарцы ставят свои палатки. Какие они интересные люди, какие у них красивые головы. Если бы мне дозволено было рисовать, сколько бы я вам прислал новых и оригинальных рисунков... Но что поделаешь! Любоваться и не рисовать — это такая мука, которую поймет лишь настоящий художник». Обрываю, хотя жалко не привести этого письма целиком: такое оно сердечное и в то же время жуткое по неизбывной муке.

Так прошло в ссылке, в солдатчине, девять долгих по своей безнадежности лет. Наступил десятый год. Скончался «рыцарь» Николай I. Взошел на престол Александр II. На замордованную страну повеяло весенним теплом. У отчаявшегося Шевченки, у которого был отнят всякий смысл жизни (не сметь творить — ни писать, ни рисовать), затеплилась надежда, что хоть умереть дозволят ему на родной стороне. Он обратился с письмом к президенту Академии художеств, графу Толстому. В письме этом, написанном в 1855 году, Шевченко об'ясняет, что, когда свалилась на него беда, он не решился его беспокоить. «Все время надеялся поведением своим и точным выполнением

суровых обязанностей солдата вернуть себе утраченное звание художника, но все мои усилия напрасны. Про меня забыли, а напомнить некому». Написал он одновременно и жене его — графине Настасье Ивановне, замечательной русской женщине, не нашедшей еще своего поэта. Толстые — муж и жена вместе с Григоровичем — усиленно хлопотали почти два года и добились своего: к весне 1857 года Шевченко был освобожден, с разрешением проживать повсеместно, не исключая столичных городов.

Но и тут сказалась его несчастная доля: менее чем через четыре года он скончался.

III.

За что была растоптана жизнь Шевченка? Какое преступление совершил он?

Сначала пытались обвинить его в принадлежности к «Кирилло-Мефодиевскому Братству», — организации для об'единения в федеративную республику всего славянства. Из этого обвинения, за отсутствием доказательств, ничего не вышло. Тогда принялись за столь любезные российскому царизму «слово и дело». Вот дословные выдержки из протокола допроса Шевченка жандармскими властями (21 апреля 1847):

Вопрос 18-ый: «Почему стихотворения ваши были в таком уважении у друзей ваших, тогда как они лишены истинного ума и всякой изящности?»

А вот вопрос 16-ый: «Какими случаями доведены вы были до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против Государя Императора, и до такой неблагодарности, что, сверх великости Священной Особы Монарха, забыли в Нем и в Августейшем Семействе Его личных ваших благодетелей, столь нежно поступивших при выкупе вас из крепостного состояния?»

Не стерпело тут сердце, и Шевченко швырнул мучителям

в лицо правду, как это сделал много лет спустя, в Госуд. Думе крестьянин Мерщия.

Шевченко не поколебался заявить для внесения в жандармский протокол: «Будучи еще в Петербурге, я слышал везде дерзости и порицания на Государя и Правительство. Возвратясь в Малороссию, я услышал еще более и хуже между молодыми и между степенными людьми. Я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и экономами-шляхтичами, и все это делалось и делается именем Государя и правительства».

Жандармы не могли скрыть радостного изумления. Теперь дело верно: правдолюбец сам крепко стянул на своей шее петлю. Потом что? Потом — бритый лоб и солдатская муштра в бессрочной ссылке. Через три года (в 1850-м) в крепости Орской ссыльный солдат попал под новое следствие — военное — за нарушение высочайшей воли: дозволил себе рисовать и писать письма.

Военный следователь, подполковник Чигирь, предложил крепостному священнику о. Петру Тимашеву произвести «увещание» арестанта, а затем, все время тыкая его, снял допрос. Себя уберу, чтобы дать слово Шевченко: его страдание, его унижение станут оттого слышнее:

«Показав все по истинной справедливости, осмеливаюсь покорнейше просить начальство принять в милостивое рассмотрение, что Высочайшая воля, воспрещающая мне писать и рисовать, мною не нарушена. Несколько гидрографических рисунков нарисованы мною по приказанию капитана-лейтенанта Бутакова для карт, составленных при описании берегов Аральского моря. В отношении же писать я разумел, что это запрещение относится к сочинениям или рассуждениям, недозволенным законами, на этом основании в 1847 году писал я из крепости Орской к начальнику корпуса жандармов, осмеливаясь покорнейше просить Его Превосходительство оказать мне

милость ходатайством о дозволении мне рисовать портреты и пейзажи. Письмо это служит доказательством незнания моего о запрещении писать к родным и знакомым обыкновенные письма».

Дописал последнюю страничку. Ищу в иссиня-темном небе звезду Шевченко. У каждого своя звезда. Должно быть, вот эта — сиротливая и печальная. Гляжу на нее и мне чудится, что оттуда несется приглушенный стон:

Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами...
Нащо стали на папері
Сумними рядами?

ИЗ ДНЕВНИКА ЮРИСТА

Мы начинаем свою работу*).

Мы начинаем свою работу — большую и трудную — без чьей бы то ни было материальной поддержки: за нами нет ни политических партий, ни отдельных меценатствующих лиц. И, все же, мы твердо верим в успех: он должен прийти,—значит, придет.

Герой французской революции, ее министр юстиции, и, увы, один из организаторов сентябрьских убийств — Дантон, когда на нем остановилось истребительное безумие Робеспьера, отверг предложение друзей бежать.

— Бежать — ответил он с тоской — разве на подошвах своих башмаков я унесу и родину?

Дантон был язычник. Он не знал, что, кроме физической родины, есть родина духа, которой никто и никогда отнять не может. Вместе с щепотками земли с родных могил, мы унесли с собой и живший в нас дух родины, дух ее благородной культуры. В нем не было и нет ничего завоевательного, властолюбивого, — в нем тихий свет всепостигающей мудрости.

Нет, конечно, национальной физики или химии, но юриспруденция, при всем своем интернационализме, носит всегда явственный отпечаток сотворившей ее культуры.

В многочисленных пунктах Европы раскиданы крупные, высокой ценности русские юридические силы. На родине они никогда не были работниками лишь за плату; в университете или суде русский юрист — теоретик или практик — творил свою работу, даже невидную, как службу Господню.

---

*) «Закон и Суд», № 1 (Май, 1929 г.). Рига.

Таким же осталось его отношение к своей работе и теперь, вне родины. Пусть иную интеллигентскую душу незадачливость и безвременье закидали жизненной тиной, — все равно, схороненная под ней церковка нередко дает о себе знать благовестом бодрым и бодрящим.

Описывая в своих литературных воспоминаниях лето, проведенное под Москвой вместе с Герценом, Грановским, Кетчером, Некрасовым и другими, Анненков замечает:

— «Вообще говоря, круг этот, важнейшие представители которого собрались в Соколове, походил на рыцарское братство, на воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех членов, рассеянных по лицу нашей пространной земли».

Вот именно: русская интеллигенция — это братство, рыцарский орден. Куда бы исторические судьбы ни закинули его членов, они должны выполнять свое провиденциальное назначение: отдавать свои знания и опыт, выявлять свой талант, — словом, подобрать оборванную нить родной культуры, чтобы передать ее не только младшим поколениям, лишенным неумной войною и безумной революцией родных университетских стен, но и тем народам, среди которых они осели, — одни осели, как граждане, другие, как гости, — увы! — засидевшиеся гости.

Напряжением национальной воли, усилиями и кровью своих сынов, латыши, поляки, эстонцы и литовцы создали собственные государства, налаживают свою независимую жизнь. В час добрый! — Русская интеллигенция никогда не была тюремщиком.

На пространстве трех государств, — Латвии, Эстонии и Литвы — а частью в четвертом, — Польше, действует русское право, применяются, изо дня в день, русские уголовные и гражданские законы, как материальные, так и процессуальные. Работать над раз'яснением их истинного смысла, над их дальнейшим развитием и приспособлением к местным условиям не значит ли служить, вместе с тем, и миллионам латышей, эстонцев, литовцев и поляков, среди которых мы живем.

Мы будем говорить о местной правовой жизни не вороватым фальцетом угодливости, а грудным голосом уважения к истине, к ним, — коллегам нашим, — и к себе самим.

И если наметится крупное с ними разномыслие по какому нибудь вопросу, случится ошибка или полемический срыв, — они не должны об'яснять наши слова затаенной тенденцией или прорвавшимся наружу недоброжелательством. Мы вправе ждать и даже требовать от них доверия, полного доверия: разве в дни тяжких испытаний их народов мы, или, по крайней мере, большинство из нас, не откликались посильно на каждый их зов?

О Л. И. Петражицком*).

У нас нет ни слова о торжестве открытия 7 мая Русского Юридического О-ва в Латвии: мы слишком дорожим местом. Но один момент в нашем торжестве должен быть отмечен, — это момент избрания почетным членом нашего молодого общества Льва Иосифовича Петражицкаго.

Более 20 лет юридическая мысль не только России, но и всей Европы шла под знаменем «Петражицкий». Нет ни одного угла в области права, куда бы ни проник его гений. Из кладовой разнообразных сведений об общих чертах действующего права, именуемой энциклопедией, Петражицкий создал научную теорию права, в смысле учения о родовых чертах этого класса явлений вообще. Он первый установил возможность построения научной психологической истории права и формулировал сущность законов его развития, — законов, которых так тщетно искали его предшественники. Ему же принадлежит заслуга создания совершенно новой, дотоле неизвестной науки политики права, как особой дисциплины, служащей прогрессу существующего правопорядка, путем научно-систематической разработки законодательных проблем. Знатоки отмечают также его исключительной ценности труды в области методологии общественных наук, его

*) «Закон и суд», № 2 (Июнь, 1929 г.).

отдельные психологические исследования и предложенное им основоположение начал научной социологии.

Это лишь внешняя сторона достижений исключительно одаренной натуры Петражицкого. Но есть еще сторона внутренняя.

Я живо помню, как свыше 45 лет тому назад, — 17- 18-летними юнцами вступили мы в университет св. Владимира в Киеве. Стройный, живой юноша с белесыми волосами на оригинальной голове, с голубыми глазами, в которых светилась ушедшая глубоко в себя мысль, лишь изредка прикрываемая детской улыбкой, быстро привлек общее внимание студентов. Наш первый семестр слушал римское право у профессора Казанцева вместе со студентами третьего семестра. Через два-три месяца Петражицкий выступил на практических занятиях по переводу и толкованию Дигест, поразив профессора и товарищей точностью и изяществом перевода, тонким и находчивым толкованием запутанных текстов. Еще через месяц он взял на себя перевод немецкого учебника Барона, а к концу второго семестра он совсем зашиб бедного проф. Казанцева. В дни практических занятий огромная аудитория, переполненная юристами разных семестров и чужаками из других факультетов, с нетерпением ждала выступления «нашего Петрика», как стали его нежно именовать товарищи. Как и многие, я крепко полюбил его и проводил с ним долгие вечера в «Краковской молочной», пьянея за миской простокваши от восторженного удивления перед прихотливо развертывающимся зеленеющим простором жизни, где явственно намечался его широкий ученый путь. В его учености, — учености замечательного знатока сухого римского права, уже тогда чуялся большой мыслитель, искатель высшего, об'единяющего смысла права. Сквозь математическую точность логических построений он пропускал искру вдохновения: в нем чуялся мятежный славянин, который, как в древнем сказании, захочет на свой манер, на свой риск перепрыгнуть через «бел-горюч камень».

И это свершилось. Через 10 лет ученой карьеры, с ее головокружительной славой лучшего европейского романиста

и цивилиста, труды которого цитировались с глубоким уважением в законодательных комиссиях германского Рейхстага, Петражицкий внезапно бросает свои богатые «хозяйственные» построения догмы права — и начинает с беспримерной энергией и кипучестью строить уходящие в высь, дух захватывающие «башни». Умер Петражицкий-цивилист, — на его место встал Петражицкий-философ.

Я помню его приезд в Петербург, куда он был приглашен на кафедру энциклопедии и философии права. Я увидел того же славного «Петрика», с его детской улыбкой, неумевшей, однако, скрыть грустный блеск его ушедшего во внутрь взора.

— «Мой предшественник предложил медальную тему о Руссо, а я, — сказал он, отмахиваясь руками от невидимого врага, — не знаю всей этой, обязательной по ученому суеверию, литературы. Пусть присуждают медали без меня, а я займусь своим».

С первых же дней огромный актовый зал Петербургского университета стал бессменной аудиторией Петражицкого. И так из года в год, множество лет, делил он свое время между научным творчеством, университетом и журналом «Право», где я состоял вместе с ним два года в редакционной коллегии, с радостью и восторгом наблюдая за его одухотворенной и одухотворяющей деятельностью.

А теперь... Теперь в ответ на мою дружескую просьбу, дать статью для первого номера нашего журнала, хорошо знакомая рука вывела с трудом дрожащие строки:

«...К великому моему сожалению, я физически лишен возможности доставить что-либо для напечатания в журнале. Я тяжело болен. У меня сильное ослабление мышцы сердечной и туберкулез легких и, в связи с этим, общая слабость и изнуренность организма, неспособность не только к литературно-творческой, но даже относительно легкой умственной работе. Даже написание этого краткого письма — это, в своем роде, подвиг и не легкое дело. Разумеется, настроение, при таком положении, далеко не веселое».

Я верю, — я хочу верить, что Лев Иосифович скоро окреп-

нет, восстановит свои силы, надорванные редкой — по углубленности, беспрерывности и творческому напряжению—работою. Пусть он верит, пусть знает, что в эти невеселые дни к нему тянутся и сердцем, и помыслами тысячи русских юристов, которые никогда не забудут радости общения с ним, — непревзойденным учителем и благородным другом.

Достоевский и Толстой о русской адвокатуре*)

Я зачитался присланным мне на днях замечательным трудом немецкого адвоката, юстицрата Ю. Магнуса: “Die Rechtsanwaltschaft”**), посвященным 50-летию германской адвокатуры. Труд этот замечателен не только тем, что впервые дает точное представление об адвокатуре в ее мировом масштабе (не пропущен, кажется, ни один клочек земного шара, где существует адвокатское сословие), — но еще более тем чувством, которым он проникнут от первой до последней страницы: через груду фактов, через разрозненные документы проходит, словно электрическая искра, любовь престарелого адвоката к своей профессии, к сословию, которым он гордится и в котором находит оправдание смысла своей жизни. В вводных строках к этому труду, — которым нисколько не вредит торжественная приподнятость тона (он и не может быть другим, когда говоришь о дорогом и заветном), — автор более, чем кстати, вспоминает шиллеровские слова: **Willst du dich selber erkennen, so sieh wie die andern es treiben — Willst du die andern verstehen, blick in dein eigenes Herz** ***). Бодрящая книга, — особенно для нас, пребывающих в эмиграции, адвокатов, перед которыми навсегда захлопнулись двери суда, где пережито так много незабываемых радостных мук. — Нет, мы не ошиблись, привязав, говоря словами того же Шиллера, свою утлую ладью к громадному океанскому кораблю адвокатуры.

---

*) «Закон и суд», № 11-12 (Май-Июнь, 1930 г.).

**) «Адвокатура».

***) Хочешь познать самого себя — смотри, как поступают другие. Хочешь понять других — загляни в собственное сердце.

Русскому адвокатскому сословию, за которым больше заслуг, чем за каким либо другим свободным сословием, есть что вспомнить, есть чем гордиться — и не ему считаться с кокетливо-невежественными вышучиваниями разных «литературщиков», для которых существует лишь одно жизненное мерило — рыночный успех. Не стоит: старуха семь лет на Новгород серчала, а он, Великий, про то и не ведал. Читатель сам отлично понимает, что связь таких литераторов с истинною литературою такая же, какая у придорожного репейника с платьем прохожего: вцепился — и вся недолга. Недалек день, придут честные стражи почвенной русской литературы и сметут жесткими щетками с ея царственной одежды приставшие к ней грязь, сор и репье. У русской адвокатуры свой неразменный фонд, накопленный 50-ю годами общественного служения и неугашения духа во времена самых тяжелых для страны испытаний. Она создала, совершенно неведомый западной адвокатуре, институт бесплатных консультационных бюро, бесплатных защит неимущих даже на выездных сессиях. Русские писатели, общественные деятели и борцы за лучшую жизнь не забыли и не забудут, что товарищи наши, с крайним напряжением сил, с забвением собственных интересов, в разных концах огромной страны служили свою тяжелую службу защиты личности против натиска на нее государства, против несправедливостей и злоупотреблений обвинения. Половину этой работы приходилось совершать в чуждых нам дотоле военных судах, очень часто при закрытых дверях, без бодрящей поддержки близких и дорогих: холодные стены — и ты один со своим подзащитным среди равнодушных и чужих.

Совершенно естественен интерес к вопросу о том — как отобразилась русская адвокатура в художественной литературе.

Из русских художественных писателей об адвокатах упоминают: Некрасов (4 строки), Щедрин-Салтыков (всем памятная фигура Балалайкина), Достоевский и Толстой.

Достоевский, насколько помню, дважды проявил свой

интерес к адвокатуре: один раз — в «Дневнике писателя» (по поводу процесса Кронберга, обвинявшегося в истязании своего внебрачного сына), другой — в «Братьях Карамазовых». Болезненно-страстная совесть Достоевского, не знавшая ни в чем середины (либо любовь, либо ненависть), была глубоко оскорблена защитительною речью В. Д. Спасовича. Сорок лет тому назад, едва вступив в адвокатское сословие, я прочел этот «дневник»: незабываемое впечатление не от мыслей и слов, их облекающих, а от чего то другого, более глубокого и более важного. Чувствуется, что речь защитника содрала покровы с нервов писателя — и тот не может сдержать мучительной боли; такой припадок сострадания к ребенку не убеждает, а покоряет. Я разыскал тогда в библиотеке судебный отчет по делу Кронберга, речь Спасовича — и почувствовал всем существом своим, что прав не великий учитель адвокатуры, а его страстный обличитель. Знаменитый профессор и большой мастер судебного слова построил защиту на явно невероятном основании: он, пожилой, коренастый человек, со сверкающим сквозь стекла очков взглядом, так громил маленькое существо, как если бы Кронберг обвинялся в превышении пределов необходимой самообороны. Потом, когда я узнал Спасовича поближе, я понял причину его ошибки: он прожил всю жизнь холостяком, не имел детей, не знал их и, повидимому, не любил. Он не понимал того, что ясно для каждого семьянина: он не понимал, как можно, любя ребенка, испугаться его грешков (Боже, что из него выйдет; как таким он будет жить! и, в припадке страха, превратить его в одну минуту во взрослого — и затеять с ребенком, как равный с равным, постыдную, драчливую возню. Присяжные заседатели оправдали Кронберга, — конечно, не по мотивам, которые приводил Спасович, — но своим оправдательным приговором подтвердили, что Спасович не ошибся ни в принятии этой защиты, ни в моральной правильности своего стремления добиться для Кронберга оправдания.

Как сильна была в Достоевском боль от методов защиты Спасовичем этого дела видно из того, что в главе, посвящен-

ной суду над Дм. Карамазовым, он не удержался от соблазна назвать его защитника Фетюковичем: Достоевскому душевные царапины причиняли всегда такую же боль, что и глубокие раны. Однако, это не помешало ему вложить в уста Фетюковича отличную, по своей типичности, защитительную речь: такова уже всепобеждающая сила художественного таланта; он может лгать в жизни, но никогда — в творческом процессе (творческое горение всегда испепелит ложь). — По этому одному признаку нетрудно отличить творца от делателя. Пусть Достоевский снабдил эту речь разными защитительными «приемчиками», captatio benevolentiae и пр.: они не умалили внутренней правды вложенной им в уста Фетюковича речи.

Достоевского, как и Толстого, как и всякого истинного художника, никогда не могли и не могут удовлетворить судебные речи. Пусть учебники словесности называют их одним из видов художественного творчества, — но это глубокая ошибка. — Об ней скажу отдельно, в одном из последующих «Дневников»; здесь же ограничусь ссылкою на тезис: то, что тенденциозно, никогда не может быть художественно. Недаром у Толстого, начиная с его ранних произведений, напр., «Юность», и кончая «Воскресеньем», так легко могут быть отделены, оторваны тенденциозные страницы и даже строки от всей художественной ткани — так же легко, как и всякая другая плохая «приклейка».

Никогда истинный художник, чуждый судебному делу, не вместит и даже не поймет расчленения того, что именуется судебной истиною, на три элемента: против подсудимого (обвинение), за подсудимого (защита) и, наконец, как синтез, приговор (суд). Как бы ни был художник мал и склонен к головному анализу, он, приступая к своей творческой работе, располагает уже — хорошо или плохо — синтезом своих героев и событий. Такой синтез был когда то и в истории уголовного процесса (сосредоточение в лице судьи всех трех функций), но человечеству пришлось отказаться от этой формы суда, так как, кроме горя, она ничего не дала. Но нелюбви к адвокатуре у Достоевского нет и следа.

В почтенном парижском журнале «Современные Записки», в толстовские дни, был поставлен вопрос: почему Толстой особенно ненавидел адвокатов? — Так ли это?

До чего непродуман поставленный вопрос видно из следующей, между прочим, ссылки автора: «министр (товарищ министра) Каренин, тоже, как известно, не любимчик (Толстого), много привлекательнее, чем адвокат, к которому он обращается по своему бракоразводному делу». Вот уж, по истине, тенденциозный прием! — Каренин в этой сцене глубоко несчастен, — с болью и стыдом рассказывает он совершенно чужому человеку про сломившую его личную жизнь беду; между тем как адвокат, на обсуждение которого поставлена не эта беда, а чисто - технический, формальный вопрос из бракоразводного права, не может не оставаться равнодушным к этому сухому вопросу, как должен быть равнодушен врач, когда он оперирует тяжело больного; недаром сказано: на погосте жить — по покойникам не плакать. Нет сомнения, что, если бы Толстой изобразил Каренина принимающим в служебном кабинете голодных крестьян-ходоков, бьющихся из-за отнятого у них последнего клочка земли, этот чиновник вышел бы куда менее симпатичным, нежели его бракоразводный адвокат.

То же надо сказать и об искусственном сопоставлении тем же автором адвоката Фонарина с сенаторами и тов. обер-прокурора. Фонарин там ничем себя не проявляет: статьи закона и номера сенатских решений. Ведь в том именно и состояло задание Толстого, чтобы в сцене рассмотрения Сенатом жалобы Катюши Масловой развенчать этот «обряд» судопроизводства, где на бесстрастной высоте кассационного разбирательства производится суд не над подсудимой и ее деянием, а над судом — соблюл ли он все судебные гарантии? Толстой-анархист, Толстой-художник не мог, конечно, примириться с такою формою суда, ибо, отрицая в корне суд, нельзя примириться ни с какою его формою. Но юристам, как и всем тем, кто несут повседневно тяготы жизни, надо же установить, какую ни на есть, форму суда. Почему же автор

«вопроса» не остановился на напрашивающемся, само собою, сопоставлении адвоката Фонарина с совершенно равнодушными к участи Катюши, а стало быть, к правде, — коронным составом суда, присяжными заседателями и прокурором?

Среди множества лиц, участвовавших в суде над Катюшей нашелся лишь о д и н, которого глубоко ранил ее процесс: это — присяжный заседатель Нехлюдов. Да и то ранил лишь потому, что за какое то число лет перед тем он загубил ее — и в вопросе об ее виновности он прочитал с ужасом ответ и о своей великой вине. Попутно: вряд ли построение на таком эпизоде романа стоит на высоте художественного гения Толстого: до такой степени он случаен, можно сказать, — притянут за волосы*).

Если исключить вину Нехлюдова, то окажется, что не было н и о д н о г о, кого заинтересовал бы вопрос — как это подсудимая крестьянка Екатерина Маслова докатилась до тяжкого преступления? Порукою тому сам Нехлюдов: не задался же он, присяжный, вопросом — как дошли, в свою очередь, до преступления Катюшины соподсудники; ведь, и они было когда-то ребятишками, — когда-то и их русые или черные головки радовали глаз, когда-то и их чарующий смех вызывал встречную улыбку. А, вот подите-ж, Нехлюдову, то-есть, самому Толстому, с его «нет виноватых», нет никакого дела до остальных окаторжанившихся соучастников Катюши. Толстой не сделал, не попробовал даже сделать того, что не раз делают в своем кабинете или в тюремной камере маломальски чуткие защитники, когда слушают, один на один, спутанный ложью, взволнованный рассказ великовозрастного подсудимого: снять с него мысленно бороду, усы, сгладить его морщины, потушить тревожно-лживый блеск его глаз, чтобы зажечь их другим блеском, — доверчиво-радостным, снизить его рост, одеть его в праздничную детскую рубашонку, чтобы

---

*) Реальность случая, все же, не исключает его случайности (см. в посвященном Кони юбилейном сборнике 1925 года, статью Срезневского: «Коневская повесть»).

потом поймать себя с тревогою на том, что давно уже утерял нить рассказа подсудимого и думаешь лишь свою собственную думу: Господи, — за что ты возложил на эти хрупкие, детские плечики все зло мира твоего, всю его грязь?

И, все же, для Толстого моралиста, — с его проповедью «нет виноватых», «не судите, да не судимы будете», — адвокат, если не занимал, то д о л ж е н был занимать в ненавистном ему судейском сословии последнее место. Это было неизбежно. Относительно прокурора, следователя, судьи для него было все ясно: враг — и конец; враг, который всех одинаково винит и одинаково наказует, ибо видит в подсудимом не человека, — жалкого, хотя и падшего, — а дело его рук.

Не то с защитником. Он должен был раздражать Толстого своею путанностью, неясностью. Враг? — Нет, как будто друг; ведь, он просит о т п у с т и т ь с м и р о м, — но в этой просьбе что-то дьявольское. — Почему он так же суров, как и прокурор, — но только не к своему подзащитному, а к остальным соподсудимым? Он молит как то странно: «Отпусти не всех Варрав (как же без осуждения и наказания!), — но только отдай мне м о е г о Варраву, — он, де, не такой, как другие».

Остается изложить еще некоторые размышления по поводу отношения Толстого к суду и его органам, — в особенности, в свете той незабываемой, продолжительной беседы с ним о суде, которую устроил мне много лет тому назад, В. А. Маклаков. Но об этом до другого раза. Я уже заполнил все отведенные мне строки.

ТОЛСТОЙ И СУД*).

(Разговор с Л. Толстым в 1900 году).

...Это было давно, — в то время, когда в журнале «Нива» печатался роман Толстого «Воскресенье». Я возвращался после шестинедельного рассмотрения в Севастопольском военно-

*) «Закон и суд», № 13 (Сентябрь, 1930 г.).

морском суде громоздкого уголовного дела с многочисленными подсудимыми и большим числом защитников. Суд вынес такой гуманный приговор, какой могли вынести лишь присяжные заседатели, — да и то очень снисходительные. Сердце мое было исполнено радости и — нечего таить — гордости за защитников: сумели обратить коронных судей в присяжных заседателей.

На первой узловой станции (Синельниково) я накинулся, после разрешения от долгого поста, с жадностью на выставленные в газетном киоске журнальные и книжные новинки. Унес их в свое купэ — и, прежде всего, принялся за номера «Нивы». В тех номерах как раз шли главы, посвященные суду над Катюшей Масловой. Главы тяжелые, оскорбительные, — а, главное, глубоко несправедливые. Я знал давно, что с тех пор, как Толстой променял кисть гениального художника на перо публициста-моралиста, ожидать от него откровений в этой области было бы напрасно: умертвить Бога для того, чтобы потом проповедывать от себя его веления — план вряд ли из удачных. Если к этому прибавить безудержный максимализм, нетерпение (старорусское — в 24 часа!) и гневливость по поводу того, что землю нельзя перестроить так же быстро, как небо, — то станет понятным, почему сотни тысяч его восторженных почитателей (к числу которых отношу и себя) интересовались и интересуются не столько «у ч е н и е м» Толстого, сколько Т о л с т ы м в его «учении».

И тем не менее... Нельзя оскорблять самыми грубыми прозвищами врачей только за то, что они не могут спасти от смерти; вышучивать богослужение, которое во всех культах исполнено глубокой поэзии и красоты, по той причине, что служители этих культов не могут пред'явить нотариально засвидетельствованной доверенности от Господа Бога; трактовать презрительно органы суда за то, что им не дано производить социальные реформы и очистить своими приговорами землю от крови, грязи и слез.

Отрицательное отношение к суду наметилось в творчестве Толстого очень рано. Еще в «Войне и Мире» в изобра-

жении суда французов над Пьером Безуховым, у Толстого вырвались знаменательные строки: «этот суд, как и всякий суд, имел одно только назначение: подставление желобка, по которому должны катиться ответы подсудимого, чтобы привести к желаемому результату — осуждению».

Это пока еще отрицание не идеи суда, а лишь его организации, при которой судят не человека, а его деяние, — изолированный факт, оторванный от всей жизни судимого.

Толстой столкнулся с судом рано: в Туле, в сессии военного суда, он выступил в качестве защитника военного писаря, оскорбившего действием своего начальника. Его речь по этому делу, погребенная в «Тульских Губернских Ведомостях» и воспроизведенная, спустя много лет, М. И. Ганфманом на страницах журнала «Право», представляет документ глубокой важности для постижения некоторых загадочных черт характера Толстого.

Его психологическая проницательность и несравнимый изобразительный талант оказались в защите не выше уровня посредственной адвокатской речи. Ненужный, в виду бесспорности факта, детальный анализ события преступления, бесцельная попытка ослабить обвинение формалистическими соображениями выявляют основную черту характера Толстого: его глубокую веру в безграничную способность к перерождению, воскресению отвлеченного человека—и, наряду с этим, полное недоверие к реальному человеку, с плотью и кровью.

Суровая осанка, наглухо застегнутые мундиры военных судей, бездушный механизм процессуальных обрядов и форм сразу опустили в его сознании железный занавес между ним и судом: безнадежно, не проймешь; вся, де, эта комедия имеет одно назначение — подставление желобка для осуждения. Мужественное сердце Толстого, не боявшееся в области идей глядеть в глаза самому чорту, не запротестовало: безнадежно? — неправда, на земле нет ничего безнадежного; сердца судей бьются в унисон с хорошо выверенным хронометром проку-

рора? — ничего, надо заставить их биться взволнованнее, человечнее; не страшна книга 22 свода военных постановлений, когда есть еще одна книга — вечная книга сострадания; во имя «Свода» его осудят, но во имя Божье — судьи будут ходатайствовать о сохранении ему жизни.

Толстой не верил в возможность увлечь судей своей любовью и жалостью к подзащитному, как не поверил, спустя много лет, при хождении с «переписчиками» по московским ночлежным трущобам, в человеческий образ вышибленных из жизненной колеи обитателей его, — не поверил и унес с собою обратно предназначенные для раздачи им деньги.

Суд над писарем окончился несчастливо: его приговорили к смертной казни. Толстой ушел разбитый, с гневным чувством к суду, как установлению, с гневным потому, что в сердце его Бог стучался всегда, но никогда не входил. Все эти мысли быстро пронеслись в моем мозгу при чтении глав «Воскресенья», посвященных суду, но успокоения они не дали.

Толстой всегда для меня Толстой: гениальный светоч, озаряющий самые затаенные уголки человеческой души. Значит, ошибаюсь я, — а не он. Я решил непременно повидать Толстого, спросить у него ответа на мои сомнения. Я никогда не искал личного знакомства с гениями: прежде всего не решался отнимать у них ценное время, а, затем, я знал, что гений выливается весь в творческой работе, а потому, — в частной жизни гениальные люди всегда ниже своего творчества. Но в то время мне было не до того: непременно повидать!

Я остановился, несмотря на долгое отсутствие из дому, на день в Москве. Обратился к В. А. Маклакову — одному из самых близких к Толстому и его семье людей. Не прошло и двух часов, как я подымался вместе с Маклаковым по узкой, много раз описанной лестнице в рабочую комнату Толстого. Помню две самодельные из плохо обструганного дерева висячие полочки с немногочисленными книжками, диван с потрескавшеюся клеенкой и большой рабочий стол. Все это я заметил раньше, нежели хозяина, — вероятно, потому, что от волнения

я старался отдалить, хотя бы на несколько секунд, желаемое свидание. К нам приблизился небольшого роста коренастый старик с согбенными плечами, всем обликом своим напоминающий мужика-сектанта. Поразили меня лишь удивительные глаза: пытливо-зоркие, проникающие в душу собеседника, но в то же время не пускающие в свою.

В. А. Маклаков, с присущей ему изящной умелостью, кинул нам разговорный клубок — и началась беседа. Толстой заговорил о полученном им на-днях новом выпуске Чертковского журнала. Минут через десять Маклаков оставил нас одних. Я изложил причину, заставившую меня добиваться свидания с ним.

Толстой медленно и раздумчиво ответил: «Суд? Над кем и за что? — За то, что мы не умеем наладить справедливую жизнь; за то, что мы губим бездну народа и, погубив, добиваем их еще судом и наказанием».

Я ответил, что тут, как будто, слиты разные понятия о суде и наказании; что, если речь идет о суровости наказаний, то давно уже сказано, что история наказания есть история его вырождения; что, быть может, близко уже время, когда большинство наказаний сведется к общественному порицанию. Другое дело суд: от него немыслимо отказаться, — ведь, и вне суда мы постоянно кого-нибудь судим и осуждаем; судит и осуждает и он, Толстой.

— «Это, конечно, правда; — ответил Толстой, — правда и то, что и я не свободен от этого греха, как и от многих других, но мы правы лишь тогда, когда отказываемся судить».

Меня взволновала эта прямолинейность — и я спросил: ну, а если с вашего стола пропадут деньги или ценные вещи после посещения вас несколькими лицами, — не находите ли вы, что суд необходим, если не для осуждения вора, то хотя бы

для освобождения от незаслуженного страдания неповинно-заподозренных?

— «Для меня нет ни виновных, ни невиновных, так как для меня не существует ни кражи, ни убийства, ни изнасилования; что вас, судейских, волнует, для меня уже пройденный путь; печально не то, что я равнодушен к таким волнениям, а то, что даже совестливые люди продолжают этим волноваться».

Потом он гневливо заметил: «Вся теперешняя жизнь — бесконечная цепь краж, обмана, лжи и бездушного угнетения слабых сильными, а вас волнует — про кого подумают, что он унес с моего стола деньги; кто унес, тот был вправе это сделать»; и, спохватившись, добавил: «вот видите, и я заговорил вашим юридическим языком: вправе, вправе! ...не вправе, а может это сделать: значит, эти деньги ему очень нужны, если он их унес».

Потрясенный этой безжизненностью суждений, я робко заметил: но зачем же он унес их тайком, а не спросил у вас?

— «Вероятно, потому, что он сомневался, что я их отдам добровольно».

Потом, заметив мою подавленность, он с неожиданною кротостью пояснил: «Не принимайте моих слов так близко к сердцу. Вероятно, вы сейчас думаете про меня, как и многие, что мои требования — чрезмерны. В нравственной области нет чрезмерности: ровно столько, сколько нужно, — ни больше, но и не меньше».

Я спросил: а как же людям жить, пока восторжествует христианское учение?

— «Я не осуждаю ни защитников, ни судей, ни даже прокуроров. Конечно,

до того времени, когда вы все окажетесь ненужными, еще далеко... Случалось ли вам переезжать в лодке быстротечную реку. Надо всегда править выше того места, куда вам нужно: иначе —снесет. Так и в области нравственных требований надо рулевать всегда выше,—жизнь, все равно, снесет».

О П. Н. МИЛЮКОВЕ

(По поводу его 70-летия)

«Не укради!»

Я знаю: заповедь эта давно вошла в плоть и кровь русского человека; но я не уверен, далеко не уверен, — все ли применяют этот запрет не только к чужому кошельку, но и к чужой репутации.

Не украдем же милюковского праздника, — тем более, что этот праздник не только его и его близких, а праздник русской культуры. Забудем, хотя бы на эти часы, политику с ее страстями и будем помнить лишь то, что нас всех с Милюковым крепко об'единяет: любовь к родной стране, к ея духовным и общественным ценностям. Без преувеличения, за последние 50 лет русской гражданственности, П. Н. Милюков — одна из наиболее крупных и ярких фигур, имеющих право на национальное уважение.

Я познакомился с ним как по его делам, так и по делам газеты «Речь», где он, совместно с И. И. Петрункевичем, И. В. Гессеном и В. Д. Набоковым, — состоял редактором. Знакомство привело нас к приятельству, а затем, с годами, приятельство превратилось в дружбу. Если я с'умею сжато и точно рассказать, чем он люб мне, то не об'ясню ли я, вместе с тем, чем он люб и широким общественным кругам.

Прежде всего, его всесторонняя и глубокая образованность; не то поверхностное всезнайство, которое присуще политическим деятелям, — то, что французы определяют словами — être toujours prompt à la réplique (всегда быть готовым к реплике). Нет, у Милюкова настоящее знание по многим научным отраслям, — знание, которому позавидовали бы серьезные специалисты. Об'ясняется оно исключительными даро-

ваниями, громадной, чисто-слоновой памятью и трудолюбием: Милюков считает отдыхом смену одних занятий другими.

Не знаю, разделят ли мой взгляд присяжные специалисты, но я считаю, что работа его, под заглавием — «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформы Петра Великого» представляет собою крупное явление не только в исторической науке, но и в области истории финансового права.

Рядом с этими талантами и трудолюбием, — или точнее, над ними, — стоит его чисто юношеская, беспощадная к самому себе, потребность не только учить, но и учиться. Примечательно его быстрое и всестороннее ознакомление, — уже в стадии работ в Государственной Думе, — с сущностью крестьянского и земельного вопросов. П. Н. Милюков до такой степени глубоко проник в принципиальные положения этой громадной проблемы и до такой степени овладел мельчайшими цифрами и фактами, что вся Государственная Дума, начиная от крайних правых и кончая левыми, почувствовала и осознала, что пришел настоящий «хозяин», настоящий хозяин вопроса, который, если не всех, то все рассудит. Я помню восторженные письма, которые П. Н., долго после произнесения своей образцовой речи, получил из разных концов России: здесь были письма не только знатоков-специалистов этого дела, но и познавших эти вопросы на практике: деревенских учителей и блещущих умом самородков-крестьян.

Не менее значительны были его успехи в Государственной Думе по вопросам внешней политики. Когда он начал свою первую на эту тему речь, некоторые из правых пытались ее сорвать своими обычными скандалами. Не прошло однако двадцати минут, как Павел Николаевич склонил их буйные головы под ярмо своей железной логики и неисчерпаемых знаний. С тех пор ежегодные руководящие речи П. Н. по вопросам министерства иностранных дел собирали на заседания Государственной Думы толпы восхищенных слушателей, возглавляемых дипломатическими представителями многих стран.

Во время сессий I и II Государственной Думы, когда из-за

возбужденных против него дел он был вне ее, он не пропускал ни одного заседания, терпеливо выслушивая в ложе печати бесконечные прения, волнуясь и огорчаясь неудачными выступлениями или неловкими выпадами того или другого из своих товарищей по партии. Во время перерывов он бегал во фракционную комнату, давал указания, выслушивал возражения, составлял проекты ясных и точных, охватывающих все изгибы вопроса, резолюций.

Потом, позавтракав на ходу, спешил в редакцию своей газеты, где быстро составлял одну, а то и две руководящие статьи. Из редакции он кидался в вечерние собрания центрального и, нередко, городского комитетов своей партии, а оттуда — снова в редакцию, где оставался до 4 часов утра. Здесь нередко в связи с поздней телеграммою о кончине выдающегося деятеля науки или искусства, Павел Николаевич, без вспомогательных словарей, едва примостившись к краешку заваленного корректурными гранками стола, набрасывал блестящую статью-некролог.

Павел Николаевич, надеюсь, не посетует на меня, если я разглашу тайну, вверенную мне не им, а редакцией крупного журнала, где он, до появления газеты «Речь», был одним из редакторов. Когда талантливый, но неудержимо плодовитый романист, торопясь поспеть со своими запроданными в несколько редакций произведениями, забывал написать намеченныя в предшествующей книге журнала сцены и безсознательно через них перескакивал, или же немилосердно, словно писец в паспортном столе, спутывал не только дела, но и имена своих героев, П. Н. немедленно восстановлял нарушенный жизненный строй. Волнуясь и кляня, набрасывал он тут же нежную любовную сцену и выправлял метрики забывших свое имя и звание героев романа.

Летом 1906 года, словно дым в сырую погоду, стали стлаться слухи о желании всесильного генерала Трепова породниться с «кадетами».

Я решил, что настало время слушать процесс Милюкова о помещении им в своей газете манифеста Совета рабочих депу-

татов. Как раз за неделю-две перед тем состоялось категорическое раз'яснение сената по тождественному делу проф. Ходского, не оставлявшее, казалось бы, ни малейшей надежды на оправдание Милюкова. А, между тем, Милюкову надо было помочь: он был нужен молодому российскому парламентаризму. Голый разбоя не боится, — и я решил использовать для Милюкова шахматный ход.

Старшим председателем петербургской Судебной Палаты был тогда Максимович, Иннокентий Клавдиевич, которого сослуживцы за его стойкую приверженность ко лжи звали Иннокентий Правдиевич, или просто Иннокентий Правдивый. Он не очень любил меня за кассационные успехи в сенате по его приговорам, но в то же время ошибочно считал (особливо, в виду внимательного отношения к моим просьбам И. Г. Щегловитова), что мне предстоит в недалеком будущем крупная роль.

Я обратился к нему с просьбою назначить на ближайшее, — не позже будущей недели — заседание дело Милюкова.

Максимович удивляется:

— «Как так? То вы все время, почти три четверти года, срывали и откладывали это дело. А теперь вдруг — вынь да положь».

Я оглянулся и сказал доверительно:

— «Ничего тут странного. Разве вы, Иннокентий Клавдиевич, не знаете, — что такое кадет. Пялят на него, пялят арестантский халат, — а вот, не успеешь оглянуться, он уж важно шествует по дворцу в министерском мундире, с толстым портфелем под мышкой на высочайший доклад. Конечно, неохота, чтобы потом на меня собак вешали: не с'умел, де, оберечь от скандала, — премьер-министр оказался под судом по неразрешенному еще обвинению. По моему, И. К., это дело надо разрешить, с обвинением или оправданием, возможно скорее».

На царедворском, татарско-хохлацком лице Максимовича заиграла умильная, с претензией на постижение, улыбка. Дело Милюкова было втиснуто в список дел, назначенных к слуша-

нию дней через пять. Милюкову я про свой шахматный ход не говорил: хуже худшего не бывает.

Настал день заседания петербургской Судебной Палаты с участием сословных представителей. Народу набилось много. Милюков, никогда не любящий терять время по-пусту, заботливо правил редакторскую корректуру наиболее важных очередных статей — и так увлекся работой, что, когда судебный пристав выкликнул его дело, он едва успел собрать рассыпавшиеся гранки и сесть на скамью подсудимых.

Милюков со своим обычным медлительным достоинством, холодно и методично давал об'яснения. Затем, после моей речи, уверявшей, что раз'яснение Сената обязательно для суда лишь по тому делу, по которому оно состоялось, Павел Николаевич произнес свое последнее слово, причем не проявил ни малейшей склонности к captatio benevolentiae (уловлению благорасположения), к которому бессознательно прибегает большинство подсудимых.

Судебная палата после непродолжительного совещания вынесла оправдательный приговор.

Милюков и его друзья, адвокатура и представители печати были немало изумлены: как же так? А решение Сената по делу Ходского? Я сконфуженно принимал поздравления, спеша покинуть храм нелицеприятного правосудия. Во дворе, под сводом ворот, меня с Милюковым нагнал пожилой мужчина, в сапогах бутылкою, с виду десятник по производству плотничьих или каменных работ, снял картуз и, пожимая мозолистой рукою мою руку, сказал теплым голосом:

«Спасибо, что оправдали нашего Милюкова!»

Милюков в те несколько минут, которые потребовались, чтобы пройти от суда до редакции «Речи», говорил усталым голосом о проекте призыва к власти кадетов, о толках об изменении избирательного закона, — а о деле, только что заслушанном, ни слова. Я не вытерпел:

— «Послушайте, бесчувственный человек. Мне, что ли, звать вас на обед за оправдание?»

Милюков засмеялся: «Я только что собирался это сделать».

А затем, раздумчиво, невесело сказал: — «Ну, чему тут радоваться? Теперь, вероятно, попаду в Думу. Работа пойдет вскачь, захлестнет меня с головою. Ни читать, ни писать о своем любимом, к чему готовился смолоду, станет совершенно невозможным».

Он умолк. А я подумал о метерлинковской «Синей птице», об ее тоске по душам неродившихся на свет. Не так ли Павел Николаевич тоскует незримо о непрочитанных и ненаписанных книгах?

Потом, еще за что нам люб Милюков? Еще за многое.

За его простоту, непритязательность, истинный демократизм не только в большом, но и в малом. Его время, его дом всегда в общем распоряжении. Когда бы кто ни позвонил к нему по телефону, никогда, никто не спрашивал: кто да зачем? Если П. Н. бывал дома, он подходил на всякий зов. Точно также без доклада всякий входил в его домашний кабинет.

Только этим об'ясняется успешность подлых на него нападений. Удивительно было его отношение к этим негодяям. Когда одна известная петербургская газета, известная своим беспардонным радикализмом и столь же беспардонным вымогательством денег у банкиров, подослала к нему на дом, дабы пресечь начавшиеся в «Речи» разоблачения, двух своих насильников, Милюков не ответил им насилием, хотя это легко было сделать и лично, и при посредстве соседей.

Милюков поступил иначе. Он не скрыл нападения, обратился в суд. Там, в качестве защитника его интересов, я предложил редакции этой газеты дуэль, но в той форме, какую когда-то применил Прудон в своем столкновении с Тьером.

В ответ на изящные дерзости всесильного Тьера он сказал: «Я вызываю вас на дуэль, — но на бескровную. Публично я расскажу без малейшей утайки всю свою жизнь. То же должны сделать и вы. Пусть люди рассудят, кто из нас заслуживает презрения. Ну, что, г. Тьер, — вы принимаете условия моей дуэли?»

Тьер отделался шуткой.

— Господа из «Руси», — сказал я им, — вот жизнь Милю-

кова. Любовь к родине, каторжный труд и более чем скромное материальное положение. А ваша жизнь — деньги и вымогательство, как единственное оружие, которым вы владеете хорошо.

Вряд ли многие знают, что Милюков отличается холодным бесстрашием. В течение многих лет за ним охотилась боевая дружина «Союза русского народа», в которую входили агенты департамента полиции. Из многих раскрытых приготовлений этого союза к убийству Милюкова, я, за недостатком места, остановлюсь на одном.

В один из воскресных дней 1907 года ко мне явился господин средних лет, военной выправки, одетый в штатское. Он представился: — «Состоящий в распоряжении министра внутренних дел жандармский ротмистр Дукельский. Министерству доставлены сведения о готовящемся покушении на жизнь вашу и Милюкова. Министр приказал назначить каждому из вас охрану». Я ответил, что гораздо вернее было бы арестовать шайку убийц, нежели посылать агентов для наблюдения за нашей жизнью.

Мы проверили это заявление, — и министерство официально его подтвердило. Друзья назначили Милюкову товарищескую охрану, но П. Н. употреблял мальчишеские фокусы, лишь бы избавиться не только от официальной, но и дружеской охраны, и предоставить себя судьбе.

Да, П. Н. не боялся смерти. Но близкие его много раз в день замирали от ужаса, — не принесут ли Павла Николаевича раненным или убитым. Так, изо дня в день, в течение многих лет.

Железная воля, труд, самодисциплина — вот актив Милюкова. А пассив? Неужели он без пассива? — О пассиве Милюкова достаточно заботились и заботятся, путем бухгалтерских подлогов, его противники.

ПАМЯТИ Г. Б. СЛИОЗБЕРГА*)

В России, где имя Г. Б. Слиозберга и сейчас произносится тысячами людей не только с уважением, но и с любовью, не было бы надобности в биографической справке, — но здесь, в эмиграции, в этой свалочной мешанине благородных имен и заслуженных репутаций со всякими «ловчилами», необходимо рассказать денационализирующейся постепенно молодежи, за что нам — отцам их — дорог Генрих Борисович.

Мое знакомство с ним — с зимы 1889-1890 гг., когда, по окончании киевского университета, я приехал в С.-Петербург, нагруженный не столько багажом, сколько рекомендациями. Отчетливо помню свое свидание с проф. Фойницким. Я передал ему письмо моего учителя — проф. Тальберга, прекрасного человека, которому злая чахотка, нажитая еще во время студенчества, помешала развить недюжинные дарования. Протяжно кашляя и с усилиями отхаркивая мокроту, Фойницкий медленно прочитал письмо и, ловя с тоскливым завыванием воздух (он страдал чахоткою, осложненной эмфиземою), произнес: «н-да; старая история... упорное цепляние за религию, которое так присуще еврейской интеллигенции, хотя она такая же неверующая, как и наша... Недалеко ходить за примером, может быть, слыхали про Слиозберга... тоже еврей... Талантливый, умница да, в придачу, работяга... И за-границей за свой счет два года поработал... хоть сейчас на кафедру,— не осрамит... да, вот, подите-ж... хочу оставаться евреем... ну, и оставайся, только перемени метрику... Зайдите к нему с моим письмом... он поможет вам подыскать патрона».

Однако, со Слиозбергом я познакомился через месяц-другой, после того, как устроил свои несложные личные дела.

---

*) «Посл. Новости» от 13 июня 1937 года, № 5923.

В это же время я наслышался от адвокатской молодежи разных о нем рассказов, в которых всегда с уважением отмечалась его трогательная любовь к науке, — трогательная своим явным бескорыстием.

Пришел я к нему, — живо помню, — на масляной неделе. Взбираться пришлось высоко. В маленькой приемной я застал несколько человек, смахивавших скорее на просителей, нежели на клиентов. Прошел, когда наступила моя очередь, в кабинет. Навстречу мне поднялся хозяин, — по наружности, типичный русский интеллигент того времени: и бородка клинышком, и неизбежные дымчатые очки, плохо скрывавшие живой юношеский взгляд, и зачесанные назад волосы. Через полчаса я почувствовал себя старым знакомым: сразу ощутил в нем доброго человека. На лице все время играла благожелательная улыбка, словно говорившая, — «не трудись подбирать ко мне ключ, — я, ведь, не на запоре». Потом, этот доверчиво-откровенный поворот головы к собеседнику, ласкающий голос, певучая, быстрая речь, не боящаяся, что собеседник повесит на гвоздик невзначай прорвавшееся неудачное слово. Я слушал его с наслаждением и безбожно курил, впрочем, меньше, чем Генрих Борисович. Вскоре между нами встала дымовая завеса, но не хотелось уходить. Только вспомнив, что в приемной кое-кто ждет своей очереди, — я поднялся. Помню его заключительные слова: «смотрите, не заявляйте себя криминалистом pur sang, повремените, а то с вами будет, как со мною, — никак не могу еще убедить клиентов, что я не криминалист, недолюбливающий гражданских дел; употребляю все усилия, чтобы публика забыла мои криминалистические грехи; это пока удается мне плохо, хотя очень стараюсь».

Однако, усилия эти оказались на деле не особенно тщательными: все еще владел им живой интерес к уголовному праву, проявленный на университетской скамье и доставивший ему золотую медаль за конкурсное сочинение. Отталкиваясь от криминалистики, Генрих Борисович, тем не менее, сдал магистерский экзамен. Вступив в члены с.-петербургского юридич. о-ва, он оказался в центре трудов уголовного отделения и был

вскоре избран в члены комитета отделения, где он, юный адвокатский стажьер, заседал совместно с такими корифеями русской юриспруденции, как Фойницкий, Неклюдов, Сергиевский и Случевский. Они избрали его секретарем редакционного комитета и за большую почесть возложили на него еще больший труд. С отзывами С.-Петербургского юридического общества о законодательных проектах и трудах считались все министерства и государственный совет. К тому времени в юрид. об-во стали поступать отдельные части проекта нового уголовного уложения; для их рассмотрения была образована также особая комиссия. Секретарем ее избрали, опять-таки, Г. Б. Слиозберга. Помимо представления собственных замечаний, он нес громадный труд по составлению журналов этой комиссии, где приходилось улавливать и оформлять мимолетные, но ценные замечания выдающихся судебных практиков.

Еще более ценны были его доклады по актуальным вопросам уголовного права и процесса. Из них привлек особое внимание не только юристов, но и широких кругов петербургской интеллигенции доклад, посвященный «новым веяниям в уголовном праве». На докладе этом скрестили шпаги лучшие криминалисты. Можно сказать, что в течение нескольких лет уголовное отделение юрид. об-ва питалось, по преимуществу, докладами Генриха Борисовича. Прекрасный организатор, проф. И. Я. Фойницкий, чуть только в теории или на практике возникал серьезный вопрос, немедленно подбирал соответствующего референта, — и таковым в 90-х годах являлся Слиозберг.

Не менее действенно было участие Г. Б. в юридической прессе — в журнале петербургского юридического об-ва и в московском «Юридическом Вестнике».

Когда стал хиреть журнал петербургского юридического об-ва, совет, можно сказать, заставил Г. Б. принять на себя обязанности редактора: журнал этот при нем ожил, привлек молодые силы, завел обзоры текущей судебной практики, — зато Слиозбергу приходилось урывать у сна многие часы и нести значительные материальные жертвы.

Инстинкт самосохранения заставил Слиозберга приняться вплотную за адвокатскую практику, — и он быстро выделился как знаток административного права. При его мягком и отзывчивом на чужое горе характере, ему совестно было щипать травку на лугах чужого бесправия, — Г. Б. работал по этим делам без платы. Спасала его и его семью гражданская практика: его обширные познания в области гражданского права (в заграничных университетах он находил время работать у выдающихся цивилистов), привычка к глубокому анализу, исключительное трудолюбие и щепетильная честность, в связи с выдающимися дарованиями, выдвинули его в первые ряды русских цивилистов. Когда выступал по сложному гражданскому делу Слиозберг, судьи прислушивались к нему без опаски: они знали, говоря словами Священного Писания, что «нет лукавства в израильтянине этом». Его стали приглашать в юрисконсульты крупных акционерных обществ: заключения его высоко ценились, хотя нередко он огорчал дирекцию своим подходом к каждому вопросу — не как сторона, а как судья.

Говорить ли об его многогранной кипучей общественной деятельности, снискавшей ему глубокую признательность и всероссийскую известность, в особенности в широких еврейских массах? — Именно в массах, а не в горделивых партийных штабах, за которыми зачастую нет никакой армии. Только те, кто сами прошли мучительный путь *ежедневной* борьбы за право, за интересы *отдельных* людей, кто бился за них в судах, министерствах, у сильных мира сего, знают, чего стоит раздача своего сердца по кусочкам. Головою он отлично сознавал, что «история» запоминает имена только тех, кто бьется не а близких, а за дальних, — и все-таки боль и страдания *одиночек* заставляли его отказываться от входного билета в историю.

Господь с ней, с историей! Не все ли равно: «жизнь, слава Богу, пройдена без грязи, копоти и дыма; сердце?... Сердце — сожжено, — знамя невредимо».

В этом оправдание жизни Слиозберга.

Потом, еще одна важная черта в личности Слиозберга, — черта, которая мне особенно дорога: это — его неугасимая любовь к России.

За что? — спрашивают многие, — за еврейское бесправие, за унижения, за погромы? Те, кто ставят так вопрос, не знают, — что такое истинная любовь. Когда любишь, то любишь с в о ю любовь...

За что любим Россию, — как это об'яснить? — За то, что там солнце светит и греет по и н о м у; и н а ч е плывут в небе облака, поет река, хрустит под ногами песок... Ну, и совесть в ней совестила п о и н о м у...

В присутствии Генриха Борисовича Слиозберга никто не решался говорить дурно о России.

МОЯ ПАМЯТКА О В. Д. НАБОКОВЕ*)

Я не могу прийти, чтобы поцеловать его последним целованием, чтобы у открытой могилы сказать свое слово о том, за которого с тревогой и любовью я бился в судах.

О В. Д. Набокове много говорят, пишут и еще больше будут писать. Он такой громадный, разносторонний, так глубоко и широко вросся в русскую жизнь, что когда потом расчуют боль утраты, осознают ее размеры, многие, быть может, — впервые, поймут: какой нужный, всем нужный человек ушел.

Будут ценить его и расценивать как выдающегося криминалиста, обладавшего редким даром изложения, блестящего и в то же время глубокого писателя, государственного деятеля, одним из немногих прошедшего моральную ходынку политики без интриги, фальши и грязи, — наконец, руководителя многих общественных и научных организаций. Сейчас не об этом. Если сердце, сжимаясь от боли, нетерпеливо зовет облик близкого, долго близкого друга, он приходит не с длинным послужным списком в руках: видишь его таким, каким он больше всего стал тебе люб, выступают четко лишь те минуты, когда там, в глубине глаз, в звуке дрогнувшего внезапно голоса загорелись, неприметно для многих, тепло и свет.

Как ни странно, минуты эти принадлежат не к тем дням, когда я его защищал. В эти дни я особливо уважал его редкую прямоту, отказ от малейшего компромисса, восхищался его гордым спокойствием, когда за несколько минут до открытия заседания он аккуратно правил срочную корректуру или читал газеты. В эти дни я тревожился за его едва, в меру приличия,

---

*) «Руль», 2 апреля 1922 года.

завуалированную презрительность к судьям, пришедшим творить не суд, а волю их пославшего.

Мне дорог этот Набоков, но дороже другой: Набоков — «соподсудимый» или «созащитник»: не знаю как точнее назвать. Тогда я почувствовал, узнал, что Набоков — не холодный, а страстно сдержанный, что чувствует он не головою, а сердцем, — не слякотным от нескончаемой слезоточивости сердцем, которое любит всех и никого, а деятельным, разбирающимся, «у м н ы м с е р д ц е м». За несколько дней до от'езда моего в Киев на защиту Бейлиса, зашел ко мне Владимир Дмитриевич. Раздумчиво, как бы проверяя себя, он заговорил о своих сомнениях: ехать ли ему на этот процесс? — Редакция «Речи» пошлет своих лучших сотрудников; здесь он нужен по редакционным, партийным, общественным и личным делам; ему тяжело расстаться на долгий срок со всей семьею — и, все же, что-то говорит ему, что должен ехать. Мы обменялись мыслями — и Владимир Дмитриевич поехал в Киев. В суде он сел за стол «газетных репортеров», как именовал уничижительно с'ехавшихся литераторов председатель суда.

С первых же дней судебного заседания, когда сразу почувствовалось тугое напряжение беспощадной борьбы, Набоков преобразился. На 4 или 5 день, когда удалось выкроить полчаса для неторопливой беседы, я всмотрелся внимательно в Набокова: лицо его осунулось, расширенные глаза глянули на меня с такой тоской, болью и обидою, что меня охватила болезненная радость: я — не один, со мною — соподсудимый, созащитник, сострадалец. С того дня стало для меня потребностью, затяжкою крепкого табаку отыскивать, в особенно тяжелые минуты процесса, его глаза. Я ловил в них ужас, боль. Но как только Набоков чувствовал мой взгляд, он мгновенно спускал завесу — и выталкивал впереди нее иронию, скучающее презрение к происходящему и подхлестывающее братское одобрение. Все минуты до и после заседания во все перерывы Набоков с бесконечным терпением, сердечной теплотой старался меня поддержать, поделиться ценными наблюдениями и

мыслями, успокоить. А сам, меж тем, он становился все бледнее и печальнее. Люди разума — меры, веса и счета — спрашивали недоуменно о Набокове, как и о лейб-хирурге Павлове, зачем им понадобилось итти добровольно на муку. Зачем — как об'яснить это? Зачем греет солнце? Зачем весною бегут ручьи, поят луга, ростят цветы? Зачем Набоков отдал свою жизнь за жизнь друга?... В чужой стране, на чужом кладбище успокоился Набоков. И я не знаю — к кому с большим основанием можно применить слова одного из замечательных поэтов в этой стране: на мне следы ран, — но нет пятен, ни единого пятна.

О. Грузенберг.

ПАМЯТИ ЯКОВА ЛЬВОВИЧА ТЕЙТЕЛЯ*)

Биография его не из шумных, но человек он был незаурядный, с нетухнувшей искрой Божией.

Назначен был в начале 70-х годов следователем в глухой приволжский уезд. Участок достался ему деревенский, в деревне и жил. Быстро постиг печаль жизни, роковую силу вольного и невольного греха и пожалел большой жалостью тех, от кого отвернулись безгрешные люди и даже Бог. Применять к обвиняемым содержание под стражей он считал несправедливым: лишение свободы должно быть наказанием, а не обеспечением явки на суд. Прокуроры пожимали плечами, но не трогали его: непритязательная святость обезоруживает.

Затем, с переводом в Самару, он развернулся, привлек общие симпатии своей праведностью, — «веселой праведностью», как ее метко окрестил М. Горький. — Действительно, веселая праведность, так как ею он никого не давил, а лишь старался, чтоб всем вокруг него жилось радостно. Привлечет обвиняемого — и тут же начинает метаться по корридорам суда, ловя знакомых и даже мало знакомых, просительно кланяясь: «возьмите на поруки до суда хорошего человека!»

Яков Львович говорил о себе: «цельных одеяний шить не умею, но класть заплаты на человеческое горе умею, — смолоду учился».

Любя судебную работу, он, все же, не мог в ней замкнуться: его тянуло к широкой общественности, к действенной помощи людям, — и в первую голову к детям бедноты. Создал детский сад, куда по будням собиралось до

*) Ницца, 1939 год.

700, а по воскресным и праздничным дням до 2000 ребят разных национальностей. С ними отводил он душу, черпал новые силы для работы, веселясь, словно их сверстник. Дети чутьем чуют тех, кто их любит, — и успех среди них Якова Львовича, как мне приходилось наблюдать и в Ницце в последние годы, был еще больший, нежели среди больших: большой, добрый, ласковый ребенок!

Тянуло к нему и писателей, проживавших или бывавших наездом в Самаре. Как сильно было обаяние общения с ним видно по тому, что, спустя много лет после знакомства, ему любовно уделили место в своих воспоминаниях М. Горький, Гарин-Михайловский, Поссе.

М. Горький дал яркий портрет Якова Львовича в самарский период его деятельности. Портрет ценный тем, что подтвердил незыблемую истину: каков в колыбельке, таков и в могилке. Время меняет условия, сферу деятельности, дает жизненную сноровку, но не меняет ничего из того, что отпущено небом, предопределено. «Мне посчастливилось — писал М. Горький в своих «Воспоминаниях» — встретить человек шесть веселых праведников; наиболее яркий из них — Яков Львович Тейтель, бывший судебный следователь в Самаре, некрещеный еврей. Тот факт, что судебный следователь — еврей, служил для Якова Львовича источником бесчисленных невзгод, ибо христианское начальство смотрело на него, как на пятно, затемняющее светлейший блеск судебного ведомства, и всячески старалось выбить его из позиции, которую он занял еще в эпоху великих реформ».

И далее у того же Горького: «вполне солидный возраст Тейтеля нимало не мешает ему делать привычное дело, которому он посвятил всю свою жизнь: он все так же неутомимо и весело любит людей и так же усердно помогает им жить, как делал это в Самаре в 95-96 годах».

К тому же времени относится портретный набросок Гарина-Михайловского, изобразивший Якова Львовича под именем Абрамсона в повести «В сутолоке провинциальной жизни».

Гарин прожил некоторое время у Я. Л. Тейтеля, видел его за работой, запомнил несколько допрашивавшихся при нем обвиняемых, — в особенности удержал в памяти 17-летнюю девушку: «Шатенка, бледная, может быть и красивая, но теперь с раздавленным лицом. Словом, Катюша Маслова, как ее рисовали в «Ниве». Зрелище было тяжелое, и я сейчас же вышел назад в столовую. Скоро выбежал и Абрамсон. Он сел подперев рукой голову и заговорил: «дворянка, убежала от отца, потому что хотел ее изнасиловать, обвиняется в воровстве у тетки платья, паспорта не имеет... И сознается... Я так-сяк — нет, сознается во всем... Оставить ее в тюрьме, это, ведь, значит совершенно развратить... Предлагаю тетке на поруки взять, не берет. К отцу умоляет не отсылать.

Я предложил свои услуги относительно поруки».

Через несколько часов та же девушка — удовлетворенная, понятая, успокоенная — подавала завтрак. С достоинством протянула она Гарину руку и сказала: благодарю.

Через много лет Тейтеля назначили членом окружного суда, перевели в столицу Поволжья — Саратов. Здесь, приходилось ему председательствовать по делам с участием присяжных заседателей, произносить напутственное слово, от которого так много зависит решенье присяжных. Его непритязательные напутствия, шедшие от сердца, находили дорогу к сердцу народных судей. Клонил он всегда, если не к оправданию, то к смягчению участи.

Прокурор Судебной Палаты стал часто напоминать о нем в своих огорченных эклогах министерству. Там это производило надлежащее действие: Щегловитову и без того было неудобно перед Союзами Русского Народа, Михаила Архангела, Двуглавого Орла и пр. и пр., что допускает в своем ведомстве такое патологическое явление, как некрещенного еврея-судью. Вызвали Тейтеля в министерство. Щегловитов об'яснился с ним на чистоту, попросил «в виде личного одолжения», расстаться по добру — по здорову.

Тейтель сначала растерялся от неожиданности: как это?

после 36-летней честной службы гонят вон только за то, что при рождении не сумел выбрать полноправных родителей.

Потом сообразил: плетью обуха не перешибешь: — и тут же в здании министерства, под диктовку славного кондитера по изготовлению пакостных министерских пирогов Веревкина, написал прошение об отставке.

Его произвели в генералы (действительные статские советники), назначили пенсию в 100 рублей в месяц, — но зато порадовали патриотические союзы с новым достижением «православия, самодержавия и народности». Весть об уходе праведного судьи вызвала возмущение и сожаление в разных общественных кругах Саратова. Трогательно откликнулись на уход Тейтеля присяжные заседатели: в последний день его председательствования они почтили старика сплошными оправдательными приговорами.

Оставшись без работы, Тейтель на первых порах приуныл: начинать в 62 года новую жизнь... Затем быстро оправился: служить добру никакие приказы об отставке помешать не могут, а где и как служить — не все ли равно. Началась еще более кипучая работа, трудная, изнуряющая: «в армяке с открытым воротом, с обнаженной головой, медленно проходит городом дядя Влас, старик седой». Какие только города и страны Тейтель не исходил, в какие только окна он не стучался. — Ему не решались отказывать даже сердца с железным засовом и со спущенными собаками.

Яков Львович собирал большие деньги, на которые строил столовые, дома отдыха, приюты, посылал вспомоществование вынужденным учиться не на родине, а за-границею. Его напряженный труд сменялся лишь очень коротким отдыхом в семье сына.

Так прошла его деятельная старость до последних дней. Обласкать, помочь человеку, не закрепощая своей добротою, — таково было его призвание, его жизненное назначение, его талант.

Доброта — одно из немногих качеств, которое растет не вверх, а вширь: оттого на расстоянии оно мало приметно. Но

истинно-добрых людей это мало занимает: облегченный вздох, радостная улыбка на печальном лице — это ли не награда?

Судьба была к нему милостива: праведником жил и умер как праведник. — Страшна ведь не смерть, а страшно умирание с его изводящими не только уходящего, но и его близких мучениями. И уходя, он никого не утрудил: все свершилось в несколько минут.

Семья его прислала нам сказать. Мы поспешили туда. На кровати, под простынею, лежало онемелое тело. Я поднял простыню, — смерть ничего не изменила: тот же красивый, почти без морщин, высокий лоб, те же крылья густых бровей, глаза, к счастью, во время закрыты, густые усы скрадывают слегка раскрытый, словно лаз в темную пещеру, рот. Ничего страшного: отработал большой работник земную страду — и вернулся к Хозяину своему для отчета.

НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ

Памяти М. Антокольского*).

...«Бежать, молить о пощаде, искать спасения в отступничестве?... Нет, смело и бодро встречайте смерть!... Чем вы лучше тех, что были затравлены, замучены, сожжены до вас?... Вы не лучше и тех, кого еще долго будут мучить, травить и жечь»... Вот что нам без слов говорит главная фигура инквизиции, предсмертного, незаконченного произведения Антокольского, о котором нам сейчас поведал В. В. Стасов.

Этот голос, эти слова никогда не смолкали в душе скульптора. Они не дали ему пасть в борьбе, они спасли его от ужасного зла племенной вражды, в них обрел он силу бороться без ненависти, добиваться счастья без проклятья... Пасмурно было утро его жизни. Нищета в глухой еврейской черте, насмешки, издевательства. Настойчиво рвался он в столицу России: он думал, он верил, что здесь найдутся люди, которые сумеют под клеймом «жидовства» разглядеть на нем печать гениальности. Он не ошибся.

Встреча со Стасовым, Тургеневым, с их благородными друзьями ввела его в дивный мир высоких идей и светлых чувств. От них он узнал, что не в гонениях, не в травле Россия. Они познакомили его со священными для каждого русского именами художников, поэтов, критиков и философов. Среди них не было и нет ни одного, кто будил бы низкие инстинкты, разжигал грубыя вожделения.

И Антокольский знал, что грязной волне, поднявшей наверх низкие инстинкты, как бы она долго ни держалась, не залить, не загрязнить того, что составляет истинную силу и величие

*) Речь на могиле скульптора Антокольского (7 июля 1902 г.).

русского духа. Он верил, что рано или поздно благородная терпимость, жажда знаний и красоты одержат в его родной стране великую победу.

Он верил и крепко любил Россию, работал для России, отдал ей всю свою душу и завещал ей свое тело. Но жил он вдали от России. Семья его угадала его предсмертное желание: она привезла тело в столицу его родины. Пусть оно будет покоиться на еврейском кладбище, но евреи счастливы, что дух его и его творен:я принадлежат всей России.

А. Я. Пассовер*).

Вот уже три дня как эти чуждые для большинства из вас люди, с своими непонятными молитвами и тоскующими песнопениями, завладели всецело Пассовером.

И все вы, близкие к нему с давних пор, почувствовали невольно, что у них, людей этих, бесспорное на него право — вы расступились, чтобы дать им место. Да, им надо дать место. В жизни покойного, блестящей и счастливой извне, но глубоко печальной внутри — эти люди, или точнее — народность, сейчас ими представляемая, были так дороги, так близки его сердцу.

Как часто за них оно сжималось от боли, загоралось гневом, тосковало в муках бессилия.

— Господа, дозвольте мне несколько слов правды о незримом страдании счастливого, удачливого Пассовера. Где же говорить правду, всю правду, если не у раскрытой могилы?

Он вышел в путь, в ответственный путь в те радостные дни, когда над замученной рабством страною занималась новая, достойная жизнь. Закипала работа большая, важная, созидательная. Она манила, звала, властно требовала — и все, что было в стране живого, отзывчивого, бодрого рвалось к ней, спешило. Рвался к ней и пылкий юноша Пассовер. Русские

*) Речь у гроба Александра Яковлевича Пассовера (Май 1910 г.).

книги, русские друзья — весь этот чудный мир молодых грез и благородных порывов владели тогда его сердцем, всеми его помыслами.

Родина, ее счастье, ее гордость: вот единый лозунг тех его дней.

Пассовер тогда сознал уже свое призвание, ему грезились университетская аудитория, полная чуткой молодежи, кафедра — и на ней он — учитель, руководитель, вдохновитель этой молодежи.

Огромный талант, исключительную умственную дисциплину, не знающую устали работоспособность он отдал страстно подготовке к профессуре.

Он переезжал из одного заграничного университета в другой, слушал лучших профессоров, жадно накопляя знания. Едва он успел вернуться на родину, как убедился, что волна общественного под'ема уже спала; начались будни, страшные в своей безнадежности российские будни... Перед молодым ученым захлопнули университетскую дверь. Он не сдавался, с молодою, неунывающею энергиею он бросился на судебный путь, гдѣ, казалось, не было, не могло быть места предрассудкам. Но... прошло несколько лет — и далеко не двусмысленно ему дали понять, что и здесь еврею не место.

Тогда он смешался с серыми рядами адвокатуры — и через несколько лет он стал ее украшением и гордостью. Блеск его славного имени, вместе с именами нескольких других благородных руководителей адвокатуры, не раз смягчал в общественном сознании некоторые теневые ее стороны.

Здесь он не был работником за плату, рассчетливым искателем удачи. В каждое дело, во всякий сложный вопрос он вкладывал частицу своего мощного «я» — и через груду фактов, через толщу спутанных юридических контроверз он пропускал искру прекрасного вдохновения, давая краски и жизнь тому, что представлялось безнадежно серым, почти мертвым. Из всех обстоятельств дела и порождаемых ими вопросов самым интересным всегда был сам Пассовер, с неожиданными пово-

ротами его оригинальной мысли, с счастливым и свежим сочетанием выражающих ее слов.

Но ему было тесно за адвокатским пюпитром, его часто сковывали узкие границы судебного казуса, и он создал высокую научную кафедру свободного учителя. На место казенного университета, откуда изгнал его ослепленный предрассудок, создался вольный, пассоверовский университет. И как близоруки и жалки сетования на то, что Пассовер не оставил по себе следа.

Как? Несколько поколений адвокатской молодежи, прошедшей через его школу, — недостаточный след?

Сотни ярких, огненных его заключений и речей на юридических конференциях значат меньше, чем жалкие, унылые тетрадки и книги многих и многих представителей казенной науки?*).

Пафос его мысли, пафос его беспокойного ума делали его слово проникновенным до ожога, будили мысль, бодрили ее, подымали на высоту истинно-научной работы.

И когда он щедро, как беспечный богач духа разбрасывал свои мысли, свое знание, не заботясь о закреплении на них права собственности, он в то же время чувствовал, с болью сознавал, что, все же, он для родины своей чужой. Да, да — чужой! Ничем, ничем нельзя у нас на Руси искупить, что ты — другой крови, другой народности. И часто, в тиши своего одиночества, он искал решения проклятого национального вопроса. Вокруг него раздавались скорбные голоса людей его крови, его народности. Они также звали, они властно требовали: «если не ты за нас, — то кто же? если не теперь, — то когда же?» — Что мог сказать он в ответ?

Он глубже зарывался в книги, он больше и больше отходил от жизни, боясь ее фальши и предательских ударов. И среди его разочарований, среди томлений духа, когда, одно за другим,

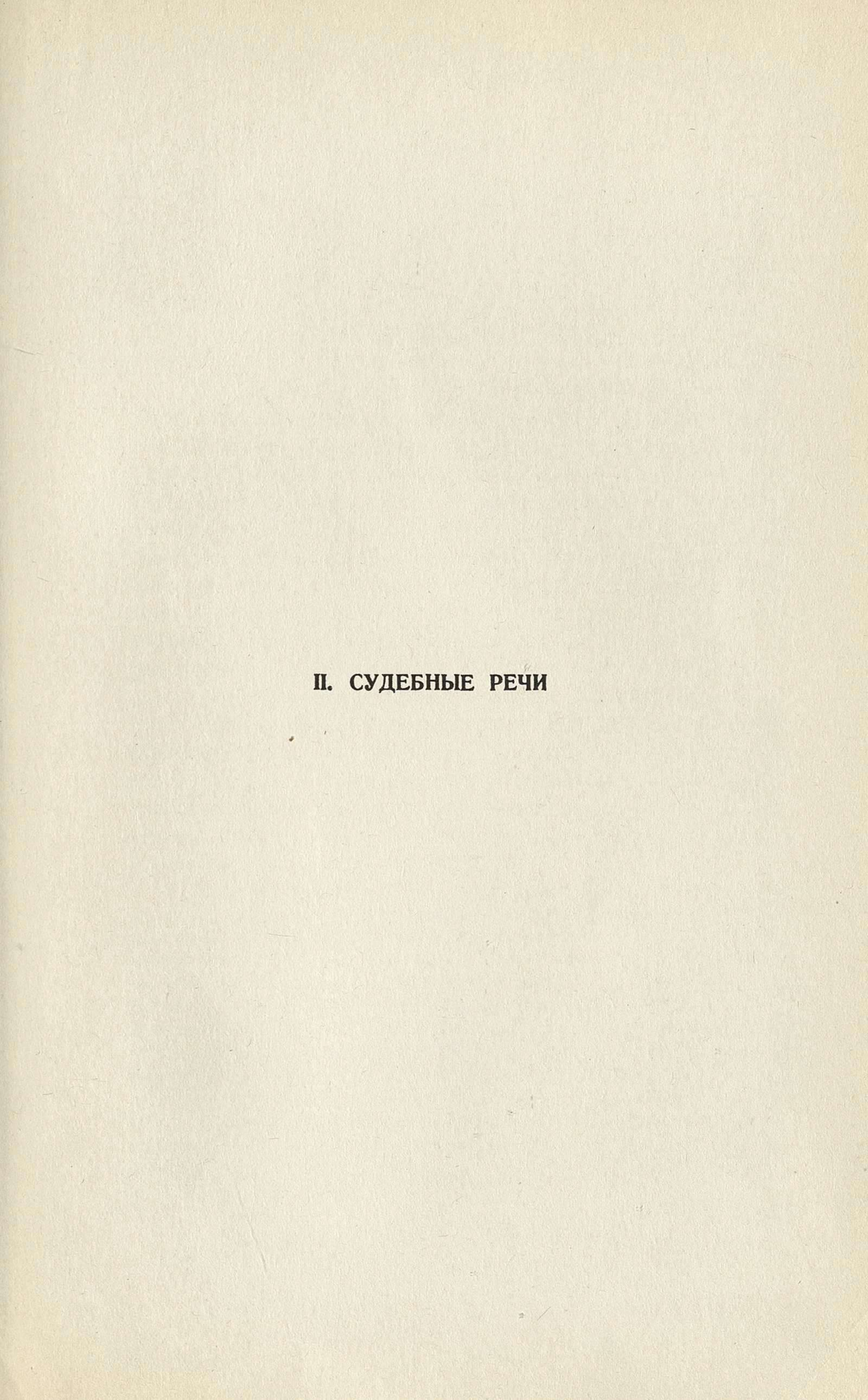
---

*) Грузенберг имеет в виду знаменитые конференции помощников присяжных поверенных, которыми десятки лет руководил А. Я. Пассовер.

отлетали верования его молодости, в нем не гасла лишь одна надежда, одна вера — вера в молодежь.

Он до последних дней верил в конечное торжество ее идеалов, в ее неудержимое победное стремление к правде жизни, к справедливости.

Вместе с ним верим и мы все, об'единившиеся у этой дорогой могилы, что в борьбе за эту справедливость молодежь всегда будет помнить и о тех, кому больше всего отказывает в ней наша родина.



II. СУДЕБНЫЕ РЕЧИ

РЕЧЬ ПО ДЕЛУ БЕЙЛИСА*)

Г.гг судьи и г.г. присяжные заседатели. Ритуальное убийство... Употребление человеческой крови... Страшное обвинение. Страшные слова, давно уже схороненные. Они сильны и живучи, и, как вы слышите, поныне поднимаются с кладбища. Они заражают все живущее. И люди, которые живут мирно, знают друг друга, понимают друг друга, вдруг делаются врагами. Вот сейчас, когда я стою перед вами, когда приходится говорить об этом страшном обвинении, — которое, как ни ставьте, говорит, что часть еврейства повинна в этом или все еврейство, или отдельная секта, но все же ведь речь идет о религии в той или другой степени, — и в эту минуту, когда раздаются эти грозные слова, и делают людей врагами, — я стою перед вами и сам не знаю, могу ли я еще пользоваться вашим доверием, могу ли я еще пользоваться вашим вниманием. Что же в том, что я рос среди вас, учился в вашей школе, учился по вашим книгам, имел друзьями вас, христиан? Я жил вашими болями, вашей скорбью, вашими страданиями. А вот

*) Шестичасовая речь О. О. Грузенберга в защиту Менделя Бейлиса была произнесена в Киевском окружном суде 25 и 26 октября 1913 года. Бейлису было пред'явлено обвинение в «ритуальном убийстве» мальчика Андрея Ющинского. Кроме Грузенберга, защитниками Бейлиса выступали Н. П. Карабчевский, В. А. Маклаков, А. С. Зарудный и Д. Н. Григорович-Барский. Обвиняли Бейлиса тов. прокурора Петерб. Суд. Палаты Виппер и поверенные матери Ющинского прис. пов. Шмаков и член Госуд. Думы Замысловский. Первым из защитников говорил В. А. Маклаков. Речь Грузенберга была посвящена, главным образом, разбору свидетельских показаний и улик, на которых основывалось обвинение. Здесь воспроизводятся (по стенографическому отчету) три отрывка из этой речи, имеющие общий интерес.

видите, ударил страшный час, раздались слова кровавого навета и мы раз'единены и стоим врагами друг против друга. И в эту минуту, может быть, кому-нибудь кажется, что я хочу своими словами, что я хочу своею речью заглушить смертное клокотание несчастного мученика, несчастного Андрюши. Нет, я не хочу этого, я этого не думаю. Дело ваше, верить мне или не верить, но если бы я, хоть одну минуту, не только знал, а думал бы, что еврейское учение позволяет, поощряет употребление человеческой крови, я бы больше не оставался в этой религии. Говорю это громко, зная, что эти слова станут известными евреям всего мира, что ни одной минуты я не считал бы возможным оставаться евреем. Я глубоко уверен, я глубоко знаю, я позволяю себе такие слова, потому что я защищал такое-же дело, о котором здесь-же упоминалось. Я глубоко убежден, у меня нет ни минуты сомнения, что этих преступлений у нас нет и не может быть.

Господа, вы видите, что эти обвинения, поднявшись с кладбища, потащили нас на кладбище, там мы разрывали тысячелетние могилы, там из давно уже развалившихся и покрытых плесенью могил мы извлекли все старое. Подумайте, господа, ведь здесь мы говорим о том, что было более трех тысяч лет тому назад, когда евреи воевали с какими-то амаликитянами, обращались с ними жестоко и вот теперь Бейлис сидит на скамье подсудимых и мы занимаемся вопросом о том, что делалось 3.000 лет тому назад, жестоко или не жестоко сражались в то время люди. Да, господа, более 3,000 лет тому назад люди не то, что сражались, не то, что приносили в жертву животных, но вы знаете, что 3.000 лет тому назад люди ходили нагишем по лесам, люди поедали еще друг друга, как дикари, а евреи уже знали единого Бога, евреи уже молились единому Богу, и, если приносили в храме жертвы, то не иначе как жертвы животных, но не жертвы человеческие. Мы рылись в старых воспоминаниях, говорили о разрушении храма, о том, какие жертвы приносились, мы шли в эти древности, мы все время были на кладбище, на кладбище, которое создалось уже 3,000 лет тому назад и от которого мы отделены, казалось бы на-

всегда. Но нас обвинение туда привело и мы рылись в этих забытых могилах.

Вы видели, что Бейлис сыграл роль того козла отпущения, о котором гражданские истцы так много говорили. И что же случилось? Он отвечает теперь за все то, что было когда-нибудь на протяжении 3,000 лет среди миллионов евреев. А на протяжении 3,000 лет были миллионы миллионов, быть может, какой-нибудь безумный, дерзкий или обиженный, который сказал какое-нибудь резкое слово про иноплеменника или про христианина, — за все это отвечает Бейлис. Подумайте, как было бы ужасно, если бы люди христианского исповедания, католического, лютеранского, если бы кто-нибудь стал ссылаться на то, что писалось или говорилось несколько сот или тысяч лет тому назад, если бы сорвалось какое-нибудь слово и если бы сказали, — смотрите, вера этому обучает. Вот, господа, что значит идти на кладбища, что значит разрывать могилы, потому что они заражают все. И вы видели и слышали — за то, что сыск у нас стоит не хорошо, за то, что попадаются отдельные не хорошие полицейские чиновники, — кто отвечает? — Бейлис. За то, что следственная власть сделала ошибку, была недостаточно энергична, — кто отвечает? — Бейлис. Если взяли несчастную женщину, держали под арестом — виноват Бейлис. Если работника Луку Приходько оторвали от рабочего станка и томили под арестом — виноват Бейлис. Он за все отвечает. Если Федора Нежинского — мало ли кого хватали в это время, — за все он в ответе, он должен ответить за все. Да, это какой-то козел отпущения. И когда случилось это страшное преступление, я говорю страшное без фраз и не для того, чтобы подделаться под вас, потому что вы слыхали от экспертизы и сами знаете об евреях, неужели у них нет любви к детям, ведь, кажется, самое заветное в семье, это уважение к ребенку, страх за его участь. И вот ужасная смерть — убит ребенок и за все опять должен отвечать он, за то, что не раскрыто преступление, за то, что не найден преступник.

Вы слыхали в речах обвинителей, прокурора и одного из

гражданских истцов, звучало что? Звучал призыв не наказывать виновного по точно доказанным доказательствам, а дать искупление, дать утешение несчастной матери. Да, несчастная мать нуждается в утешении, но не в жертвоприношении, не в осуждении невинного. Господа судьи, я должен вам сказать, что я просил бы господ обвинителей посмотреть на эту бедную Александру Приходько, приглядеться к этой простой женщине, прислушаться к ней и от нее, господа, нам надо научиться, как бережно надо относиться к человеческой жизни. Вы помните, как она вошла в суд и сказала слова удивительные, слова пропавшие в этом шуме, гомоне, и беспорядке отдельных фраз, мыслей и показаний никому ненужных. Она сказала святые слова и их, конечно, не могли понять ни сыщики, ни газетные репортеры, которые собирают мелкие сведения, она сказала: — «у меня нет слез, я не могу больше плакать». И вот эту замученную женщину, у которой нет больше слез, которая не может плакать, спрашивают и следователь, и мы, кого вы подозреваете? — Ни слова про Бейлиса, ни слова про евреев. Святая женщина. И вот в эти минуты гнева и отчаяния она не заразилась общей ненавистью, она говорит правду, как понимает, ей жаль сына, но она не хочет, чтобы гибли другие невинные люди. Да, это так, и когда я слышал ее, я понимал, почему она так осторожно относится к чужой жизни.

Рядом с ней, господа, есть другая женщина, вы о ней здесь слышали: Это жена Бейлиса, его семья, и что же — она намного счастливее, намного лучше живет, чем Александра Приходько? Разве так? Ведь она такая же жалкая, беспомощная, одинокая, заброшенная, как Александра Приходько, у нее тоже никого нет. Посмотрите на трудовую хорошую честную семью Бейлиса, настоящую рабочую семью, на нее в один день ударил Божий гром, разбил всю эту бедную трудовую семью и вот уже два с половиной года вся эта семья разбита, раскидана и не знает, когда соберется вновь. За что? — Ответа дать нельзя. Ответ дать невозможно и я знаю только, что какое-то огромное горе навалилось на нее.

Что вы знаете об этом Бейлисе, что вы слышали о нем?

Господа, разно говорят о евреях, разно о них думают, но разве кто-нибудь из вас не скажет, что Бейлис это один из тех евреев, из того класса, который должен быть дорог всякому христианину, как и еврею. Ведь, это же честный труженик, рабочий человек, не знавший ни дня, ни ночи, работавший не меньше, чем работали все крестьяне и извозчики, чем работали все рабочие. Вы слышали, он вставал со всеми, иногда в четыре, а в 6 часов утра начиналась работа и шла с 6 часов утра до 6 часов вечера. Ни минуты покоя, он со всеми работал. Вы помните, как рассказывают, что даже в обеденный час, когда постучишь к нему в контору, он бросает обед, выбегает, чтобы не задерживать возов, подписывает квитанции, выдает, отпускает, и так напряженно он работал, начиная с 4-х, обыкновенно, с 6, утра и до 6 вечера, т. е., 12—14 часов в день, как и все. Прошли здесь христиане. Кто эти христиане? Рабочие извозчики, много тут прошло народу, и что они вам сказали, — вы сами знаете, что когда человек попадает в беду, всегда найдется кто-нибудь, кто вспомнит, что он его обидел. Но, ведь, вы ни одного такого голоса не слыхали. Проходили рабочие, — посмотрите, как они тепло, сочувственно и человечно отзывались о нем, все смотрели на него, как на несчастного, пришибленного, полураздавленного человека, и что, может быть, Бог даст, он справится, и ни одного укоризненного слова вы не слышали.

Помните, пришли сюда детишки, это был трогательный момент, когда маленькая Евгения Волощенко, на вопрос про Бейлиса, глянула на скамью подсудимых. Ее спрашивают, что же он вас гонял, обижал? — она засмеялась и сказала: «Нет, никогда не обижал». Никто, ни взрослые, ни старики, ни дети, ни те, которых мы вызывали, ни те, которых прокурор вызывал, — ни одного слова укоризны или жалобы не сказали против Бейлиса и все же Бейлис сидит перед вами на скамье подсудимых, и все же Бейлис 2½ года сидит в тюрьме, измученный, надорванный, разбитый, и здесь требуется его осуждение во имя критики Библии, во имя критики Зогара, каких-то мертвенных книг, которых 9/10 евреев не видали и о

которых не слыхали, во имя этого, во имя доказательств, собранных от пьяных баб, от Волкивны, которую надо было разыскивать по разным притонам, чтобы привести в суд, от Волкивны, которую должен разыскивать следователь. Бог знает, от кого вы слыхали это, прошел весь воровской мир и там старались найти улики против Бейлиса. Господа, я уверен, что только через несколько месяцев, когда мы с вами будем вспоминать, что мы пережили за эти 25—26 дней, — простите, я уже потерял счет, для меня это какой-то сплошной кошмар, и я не могу опомниться, — то вы скажете, неужели все, что мы слышали от Волкивны, от Шаховского, который 17 раз менял свои показания у следователя и столько же раз менял показания здесь, перед вами, в этой зале, а его слушали, и неужели на основании этих показаний, часто бессмысленных, совершенно необоснованных, ни с чем не связанных, сбивчивых, рассеянных, шла речь о том, чтобы человека послать в каторжные работы. Подумайте, господа судьи, что это мы слышали и видели все время сплошь.

Я спрашиваю, за что же это, в чем человек провинился? И действительно, обвинение само, я не говорю про судей, но само обвинение считает твердым это положение? Да нет, вы слышали, что говорил прокурор и гражданские истцы, они говорили, что так как там при больнице имеется молельня, то не нужна ли кровь человеческая для того, чтобы на ней построить эту молельню. Ведь это так, об этом говорил прокурор, это записано, об этом мы все слыхали. И тогда я обращаюсь к г. прокурору и говорю, — если вы считаете, что молельня должна строиться на христианской крови, если вы считаете, что для молельни принесли в жертву и замучили несчастного мальчика, что же вы молчите, отчего не действуете так, как требует убеждение? Тогда ищите того, кто строил молельню, для кого была эта молельня. Вы видели этого человека, он стоял перед вами. Это — Зайцев, сын старого Зайцева, миллионера, он строил ее, и, если обвинитель считал, что молельня строится на человеческой христианской крови, то, я спрашиваю вас, почему же он не сидит здесь, строитель этой молельни,

почему не сидят те, которые пожертвовали деньги на нее, те, которые нашли, что нужна человеческая кровь, те, которые нанимали людей, чтобы они убивали. Этого требовало обвинение, и если обвинитель это думал, он должен был взять их, посадить, но он их не посадил. И я спрашиваю, как-же после этого обвинители могут здесь в суде говорить, что молельня была заложена не 7 марта, а, вероятно, в день гибели несчастного мальчика, и для этой молельни понадобилась кровь. Да, я скажу, если вы этому верили, вы должны были их взять. У вас, у русской власти и правительства, достаточно власти, достаточно мощи, чтобы не останавливаться ни перед богатством, ни перед положением, ни перед чем. И если бы вы верили, то, конечно, вы посадили бы на скамью подсудимых тех, кто создавал молельню, кто требовал крови, но вы этого не сделали, конечно, потому что вы сами отлично знаете, что это неверно. что этому нет никаких доказательств, кроме одного факта, что люди хотят молиться в своей синагоге, как им разрешил Бог и как разрешает закон и как разрешает русская власть. Вы это знали и, тем не менее, на суде мы слышали, во время следствия допрашивали целый ряд свидетелей по вопросу о том, с разрешения или не с разрешения строили молельню, когда она открылась, когда освящалась, и все это делалось только для того, чтобы бросить подозрение, не для этого ли понадобилась кровь несчастного Ющинского.

Да, господа, для этой бедной матери кровь Ющинского, его рубашка, забрызганная кровью, это не боевое знамя, для нее это последняя кровь ее ребенка, дорогая ей кровь; для нее дорога не пещера, куда мы стремимся, для нее дороги два аршина могилы, где лежит ее мальчик, могила, куда, быть может, никто из нас и обвинителей не ходит. Она ходит туда в одиночку, бьется, плачет и ищет утешения на этой земле, но никого не винит, потому, что знает, что там перед престолом Всевышнего ее сыну не станет легче от того, что пострадает еще один невинный человек, от того, что рядом с ее мальчиком будут мучиться и томиться четверо детей этой несчастной женщины и этого несчастного Бейлиса, этот ни в чем непо-

винный Пинка, о котором мы слышали, что с ним всегда играли христианские мальчики и что они любили друг друга. Она это знает и я хотел-бы, чтобы это знали обвинители, чтобы, подходя к делу, они видели в этой могиле действительную святыню, действительно замученного ребенка. И эта окровавленная рубашка действительно должна вызвать горе, а нельзя ею размахивать, как знаменем, и звать людей ко взаимному раздражению и ненависти. Это невозможно. Надо произнести слово успокоения.

Обвинение ставит мировое дело, но г. председатель вам об'яснит, что на суде нет мировых дел, на суде есть дело отдельного человека, его судьба, его участь и интересы правосудия, больше ничего на суде нет. Все остальное от лукавого, а от Бога только одно — виноват? — виноват, невиноват, кто бы ни был, враг-ли мой, я бы тебя ненавидел, но раз ты невиноват, я не могу этого не сказать. Да, господа, бывают погромы, бывают страшные движения, о которых говорил господин гражданский истец. Вы их можете понять. Но там действует толпа, ослепленная; она бросается, разрушает дома, сжигает имущество, убивает людей. Это вспышка. Но вы понимаете, что там нет разума, люди не рассуждают, они поддались несчастной страстности, они, опьяненные кровью, совершают злое дело. Но здесь, когда мы спокойно, без точных доказательств будем требовать гибели человека — это невозможно.

. . . .

Какое дело всем евреям до Бейлиса, почему они зашевелились, спрашивает г. прокурор, спрашивают гражданские истцы, и в этом даже усматривают улику против него. Господа присяжные, там, где навет распространяется на всех, там, где видны грозовые тучи, которые нависают над небом и никто не знает заранее, над кем в сущности разразится этот гром, то там быстро организуются коллективные нравственные личности, все чувствуют, все сознают, что этот удар, который наносится одному, наносится в сущности всем, и это не есть особливое понимание евреев, это не есть какая-то исключи-

тельная их чувствительность. Вы слышали здесь проф. Троицкаго, профессора духовной академии, человека заслуженного, состоящего при св. синоде, перед которым прошли тысячи священников, из аудитории которого вышли тысячи его учеников священников, и что же он вам говорит, что же говорит этот близкий к религии человек? На вопрос гражданского истца он ответил: «Я не понимал-бы, если-бы евреи в вопросах, которые касаются их веры, если-бы евреи в вопросах, которые касаются их священных книг, не заступились бы. Как же это так, я не пойму». Так ответил г. Троицкий, православный, чисто православный человек. Да, господа, но он еще забыл вам сказать, что с этим обвинением для евреев связаны самые мучительные столетия. Восемь веков, начиная с 12 века, ведь они платили тысячами людей. Если сосчитать, как это сделал один из гражданских истцов Шмаков, который брал данные из сочинения немецкого писателя...

Предс. Г. защитник. Это не было на следствии.

Грузенб. Я хотел быть точным, не красть чужого материала, я скажу, что если сосчитать все жертвы, которые приносили евреи, то можно было-бы буквально вести несколько крупных войн. А их жгли и вы знаете, как шло дело? Дело шло так, что являлся кровавый навет, являлись католические монахи, хватали этих людей, обвиняли в страшных проповедях, затем их пытали, имущество сразу отбирали, их жгли, а некоторых из них казнили позорной казнью, вешали между двух собак, а потом? А потом приходили летописцы, такие же монахи и клеймили чело замученных людей, клеймили чело их детей, клеймили их внуков позором отчуждения, позором того, что они употребляют кровь человеческую. И отчуждение создавалось вокруг людей. Как же им не бояться этого клейма позора, клейма отчуждения? В эту минуту, что бы вам ни говорили: весь народ, или часть его обвиняется, это все равно, но ведь каждый чувствует себя так, как будто он сам принадлежит к семье порочной, бессчестной и позорной. Добро, если бы для этого были основания, добро, если бы евреи сами верили. Но нет. Вы слышали обвинителя и когда

обвинитель стал поддерживать обвинение, он заявил, — я плохо знаю еврейские книги, я плохо знаю весь этот вопрос. Но он верит в ритуальные убийства, верит по тем трем книгам, которые прочел по этому вопросу. Господа, верить можно в добро, верить можно в красоту, верить можно в небо, а там, где должно знать, я верить не могу, я обязан знать и я в праве сказать, — вот уже 800 лет тяготеет обвинение и что же сделали для проверки его? Слава Богу, во всем мире есть университеты, есть сотни ученых, которые знают еврейский язык лучше, чем любой из евреев, возьмите для примера Коковцова, этого высохшего над книгами старого, не от мира сего человека, который даже не умеет публично разговаривать, он знает этот язык лучше, чем Мазе и все, пусть они меня извинят, все раввины, вместе взятые. Он считается не только первым гебраистом здесь, но и первым гебраистом в Европе, и он избран членом академии наук в России. И эти люди все читали, все исследовали. Отправляются ежегодно в далекие экспедиции в разные части света, по обломкам, по обрывкам восстановляется история людей, живших несколько тысяч лет тому назад. Мы знаем очень много, мы знаем как в старину, несколько тысяч лет тому назад судили, как несколько тысяч лет тому назад жили, как любили, как умирали, а мы не знаем того, что делается около нас. Евреи живут подле вас, живут с вами, хорошие или плохие, нравятся вам или нет, но вы их каждый день видите, и вдруг в одну минуту ударяет гром, падает страшное обвинение, — кровавый навет и человек остается одинокий, совершенно отчужденный и совершенно растерянный и перестает понимать, где же корни, где же связь с прочими людьми, которые к нему относились хорошо, если он был хороший, уважали, и если он был плохой — относились к нему дурно; человек теряется, не может понять, что с ним стряслось. И это не есть только желание евреев. Я бы назвал вам одного замечательного русского человека, причем самых крайних правых убеждений; покойного обер-прокурора Победоносцева...

П р е д с. Г. защитник, о нем мы не говорим.

Грузенб. Тогда позвольте мне совершенно опустить этот текст и сказать вам, что в делах религии все решительно люди близкие, все одинаково чувствительны, и высшая деликатность заключается в том, что, когда вы входите в чужой храм, вы подчиняетесь здешним правилам, когда вы входите в мусульманский храм, вы снимаете сапоги, когда входите в еврейский храм, покрываете голову, а когда еврей входит в ваш храм, он снимает шляпу и благоговейно слушает ваши молитвы и песнопения, потому что в душе каждый чувствует, что есть такая точка, есть такая святая святых, которую задеть нельзя без последствий. А в этом деле задевают все. Вам говорил здесь г. прокурор, что будто недавно в Австрии был процесс Гильзнера и в Европе было пред'явлено такое же обвинение. Раз он об этом говорил, я утверждаю, что обвинений в ритуальных убийствах я не знаю, начиная с конца 17 века, в такой форме, в какой оно поставлено по делу Бейлиса, нигде в мире не ставилось, нигде и никогда. И если г. прокурор ссылается на дело Гильзнера, он совершенно ошибается, — было дело по обвинению в убийстве девушки, но слов таких, которые включены по этому делу, слов об изуверствах, применяемых для исполнения обряда религии, таких слов не было; я утверждаю, что за 200 лет нигде на земном шаре такого процесса не было. Тут были ученые, их допрашивали...

Предс. Вы даете свидетельские показания.

Груз. Но здесь допрашивали экспертов. Я утверждаю, никогда таких процессов не было и эксперты брали процессы откуда? Из средних веков, и брали откуда? Из этой тьмы, где были пытки, где были казни, где были процессы ведьм! Господа, как можно здесь, в этом суде говорить о средних веках, о их судилищах, разве вы не знаете, что в средние века судили ведьм, что находились ученые врачи-эксперты, которые приходили и говорили, — позвольте осмотреть эту ведьму, — и, осмотрев, говорили: да, вот признаки несомненные, это ведьма. И ведьму судили, и ведьму жгли и покрывали позором все ее потомство. И все это были эксперты, все были ученые, врачи, которые находили признаки колдовства. А разве вы не знаете,

что в средние века, ведь тут показывали, когда допрашивали, что судили животных и посылали повестки крысам и собакам...

Предс. Мы этого не касаемся, кто же говорит, что крысам повестки посылали. Вы сами хорошо знаете, вы опытный защитник, вы понимаете, что неудобно прерывать, когда говорят, но приходится вас останавливать в силу моей обязанности, в силу закона.

Грузенб. Я подчиняюсь. Мне очень жаль, но эксперты здесь были допрошены по вопросу о том: судили-ли животных и они ответили, что животных казнили, что животных судили судом человеческим. И люди занимались этим вздором, и считали, что делают серьезное, настоящее дело, — это правда, было сказано без подробностей, но я в праве это сказать и установить. И сюда приходят с этими материалами, сюда вызывают экспертов и три дня разбирают еврейскую религию. Вы слышали, как говорили здесь о Библии, как прис. пов. Шмаков, допрашивая ксендза Пранайтиса, ставил целый ряд вопросов из Библии, изобличая ее в жестокости, изобличая ее в нелюбви к человеку, изобличая ее в пролитии человеческой крови. Вы это слышали — это было. И ксендз Пранайтис или давал ответы на такие вопросы или уклонялся. Но не отказался от дачи ответов. Это происходило. И я минутами думал — Боже, что же происходит, неужели библейский Бог, который одинаково свят для всех религий, христианской, еврейской, неужели библейский Бог обратился в какого-то киевского еврея, на которого идут с облавой, которого ловят и говорят, что в его книгах...

Предс. Г. защитник, это оскорбительное выражение. Вы можете говорить, но не делайте таких сравнений.

Грузенб. Идут с облавой на Библию, на священные книги, из Библии выдергивают отдельные места, отдельные слова, которые одинаково дороги вам, христианам, и одинаково дороги евреям, которые читаются одинаково во всех храмах — и в христианских, — и в православных, и в католических, и в лютеранских и одинаково читаются в еврейских храмах — молельнях и синагогах. Да и мы это слышали! И какое бы

сравнение я не употребил, верьте мне, что я передаю еще спокойно то, что пережито мною и не только мною одним за эти тяжелые дни! Тут не есть какая-то чувствительность еврейская, тут чувствительность человека, который, хотя и чужд, может быть, религиозным вопросам, но на которого неожиданно наваливается эта тяжелая обида, это тяжелое горе. Господа присяжные, еврейская религия не нуждалась бы в моей защите, но вы слышали как ее здесь перед вами обвинял ксендз Пранайтис и какие он давал показания и об'яснения.

И когда я, слыша это, испытывал муки, я все-таки в эту минуту говорил себе с гордостью — какое счастье, что среди православных ученых не было ни одного, по крайней мере здесь на суде, который явился бы и своим именем священника или своим именем православного христианина или русского ученого, поддержал бы эти ужасные, мучительные сказки, этот кровавый навет: это счастье — ни одного не было. И только, как вы слышали из обвинительного акта, был спрошен один священник, о. Глаголев, и тот сказал, что в еврейском вероучении ничего нет, что бы давало малейшее указание на то, что дозволяется употребление христианской крови. И в эти дни, когда многие испытывают те же страдания, как и я, пускай они знают, пускай они помнят, пускай они передадут своим детям, что православная церковь относится к евреям милостиво, что православная церковь знает об их законах, и ничего дурного в них не нашла, ничем не оскорбила, ничем не задела их религии. Это великое утешение, гг. присяжные заседатели, и я горд, что могу высказать это христианам, могу сказать, что среди всего, что пережито мною, это был единственный светлый луч, единственная минута счастья.

Господа присяжные заседатели, что мне защищать еврейскую религию, ведь еврейская религия это старая наковальня, о которую избивались всякие молоты, тяжелые молоты врагов, но она вышла чистой, честной, стойкой из этих испытаний, неужели же вы думаете, гг. присяжные заседатели...

П р е д с. Г. защитник, вы говорите об еврейской религии, никто ее не обвиняет. Вы опять забываете, какое обвинение

пред'является. К вашему подзащитному пред'является обвинение в изуверстве, в неправильном толковании...

Грузенб. Г. председатель, я подчиняюсь.

Предс. А вы говорите, что кто-то позволил себе обвинять еврейскую религию. Это обвинение недопустимо и если бы это было, я первый остановил бы.

Грузенб. Г. председатель об'яснил мне, что еврейская религия и еврейские богослужебные книги ни в чем не обвиняются, еврейскую религию никто не заподозривает, а имеют в виду одних изуверов. Значит, мы три дня занимались ненужным делом, ведь мы три дня спрашивали не об изуверах, а мы разбирали Библию, Зогар, Талмуд, — это еврейские книги, это не книги изуверов, а книги церковные. Но мы это делали и значит делали напрасно. Вы видели как перед нами стоял патер Пранайтис и сыпал беспощадные удары, повторял Ролинга, который давно не признается всеми учеными и немецкими, и нашими русскими Коковцовым и Троицким. Вы видели — они знают все еврейские тексты, у них все записано. Г. гражданский истец сказал, откуда они знали, что будут нужны тексты, он забыл, что председатель сказал, отпуская их: — «господа, сделайте себе заметки, я вас прошу заметить относительно библейских текстов на все вопросы». Это было распоряжение г. председателя и большинство экспертов кроме Пранайтиса исполнило это и сделали письменные заметки и надлежащие выписки, представили их вам и здесь они были проверены.

Да, когда Пранайтис сыпал удары, я чувствовал удовлетворение только в одном, это когда Пранайтис на вопрос о пытках, ответил — да, действительно, на всех процессах, о которых я говорю, в средневековьи, сознание добыто путем мучительных пыток. Да, пытки, конечно, вещь нехорошая, но под пытками говорят правду. — Я смотрел на ксендза Пранайтиса и думал: как здесь, в суде возобновляется вопрос о пытках, отмененных давно с высоты Престола, здесь в суде, который действует по уставам императора Александра II, говорят, что истину можно добыть путем дыбы, ударов, щипков,

смолы, путем жжения людей—и это говорил ксендз Пранайтис. Но это шло оттуда же, откуда идет обвинение против религии, оттуда же, из того же источника, откуда идут восторги по поводу печального времени и я рад, что в одном лице слилось и обвинение отдельных положений религиозных книг и защита пыток средневековья. Я больше о религии говорить не буду, я не буду говорить об этой старой наковальне, ибо председатель говорит, что ей не грозят никакие удары, ибо я уверен, что эти погремушки Ролинга и Герца, которыми гремел патер Пранайтис, признающий в согласии с Ролингом эти погремушки, — что они не разобьют этой старой наковальни.

. . . . , ...

Все улики я разобрал, ни одной улики нет против Бейлиса, а между тем, его ждет 20-лет. каторга, этого честного рабочего человека, который 2½ года испытывает эти муки. Господа, вы знаете, ведь он живет на скамье подсудимых совсем другой жизнью, если вы за ним понаблюдаете, то вы заметите, что он плачет не тогда, когда приходится плакать, и он не плачет в то время, когда говорят об его беде и его горе, и сидит спокойно и равнодушно. За эти 2½ года он ушел в себя, он сидит здесь как автомат какой-то. Ведь прокурор сказал, что ему стало дурно, когда Кадьян говорил об ударах, но г. председатель раз'яснил, что он больной человек, ведь с ним были глубокие припадки, он страдает малокровием мозга, он измученный человек. Вот эти муки и страдания человека пробуют ставить ему в улику. Я уверен, когда я говорю перед вами, мне безразлично, каких вы партий и убеждений, передо мной сидят судьи, и судьи вынесут, я хочу надеяться, вынесут судейский приговор. Я так уверен в его невиновности, я так уверен, что все это ясно, что я не допускаю мысли, чтобы были разногласия, чтобы здесь в зале мог бы найтись кто-нибудь, кто сказал бы, что Бейлис виновен, что осталась против него хотя бы одна улика, хотя бы одно доказательство. Да, я ведь глубоко верю, я спрашиваю себя, ну, а если ты не прав, если случится другое, если тот, кого ты считаешь

невиновным — погибнет, то что же сделать? Гг. судьи, мы сделали все, что могли, мы старались и работали хорошо ли, плохо-ли, — не знаю, но каждый из нас Богу служил. Мы много сил на это потратили и если не удалось, то не наша вина.

Вы помните — как прокурор выразил свое неодобрение русскому народу, упрекнул его в недостатке мужества.

Не понимаю этих слов. Для того, чтобы сказать виновному злодею, что он — злодей, не требуется мужества. Но если сказать о невиновном, вопреки очевидности, что он виновен — для этого требуется не мужество, а нарушение судейской присяги.

Избави Господь русского судью от такого мужества. Я кончаю. Измучился я сам, истомились, надо думать, и вы, гг. присяжные.

Я твердо надеюсь, что Бейлис не погибнет. Он не может, он не должен погибнуть. Что, если я ошибаюсь; что, если вы, гг. присяжные, пойдете, вопреки очевидности, за кошмарным обвинением. Чтож делать! — Едва минуло двести лет, как наши предки по таким-же обвинениям гибли на кострах. Безропотно, с молитвой на устах, шли они на неправую казнь. Чем вы, Бейлис, лучше их? Так же должны пойти и вы. И в дни каторжных страданий, когда вас охватывает отчаяние и горе, — крепитесь, Бейлис.

Чаще повторяйте слова отходной молитвы: «Слушай, Израиль! — Я — Господь Бог твой — единый для всех Бог!».

Страшна ваша гибель, но еще страшнее самая возможность появления таких обвинений здесь, — под сенью разума, совести и закона*).

---

*) Вердиктом присяжных заседателей Бейлис был признан невиновным. Интересный юридический анализ вопросов, поставленных судом на разрешение присяжных заседателей по делу Бейлиса, в связи с резкой критикой «резюмэ» председателя суда Болдырева, дается в статье **В. Д. Набокова** «Дело Бейлиса» («Право», 1913 г., №№ 44 и 45). Блестящую характеристику общественного значения этого процесса дал **В. А. Маклаков** в статье «Смысл дела Бейлиса» («Русская Мысль», 1913 г., Декабрь).

ДЕЛО ВСЕРОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО СОЮЗА*)

...«Вы помните, г.г. судьи и г.г. сословные представители, те события 1905-1906 годов, к которым зовет нас обвинитель. Когда я слушал это, мне казалось, что это было уже очень давно. И манифест 17 октября, и политико-общественные условия, им порожденные... Как они близки и как сейчас далеки... Так далеки, что минутами мне кажется, что их вовсе не было, минутами мне кажется, что я не помню этих дней великих надежд и трагических разочарований. К этому времени нет сейчас возврата, между ним и нами теперь река крови и груда мертвых тел. От него остались лишь разбитыя надежды, невыплаканные слезы и силой подавляемое негодование. И я бываю счастлив в те минуты, когда обретаю в душе уверенность, что этих дней вовсе не было, и потому о них не буду говорить. Но прокурору легко возвращаться к этому прошлому: в титанической борьбе великого народа за свою свободу он не видит ничего, кроме нарушения уголовного уложения, и беззаветные жертвы любви и долга таксируются им по ставкам карательного закона. Легко возвращаться к этим дням тому, для кого все равно, участвовала ли в этом движении вся Россия, совершала ли она веления исторических судеб; на все у него один ответ, — история нарушила действующий уголовный закон. Какое ему дело и до того, что то самое учредительное собрание, в требовании которого обвиняются сидящие здесь на скамье подсудимых, обещано было в официальной речи премьер-министра, обсуждалось в таких органах, как «Новое Время», проповедывалось такими публицистами, как г. Меньшиков. Но те, в ком жива еще память о нечеловеческих страданиях, растоп-

---

*) Это дело слушалось в С.-Петербургской Судебной Палате. О. О. Грузенберг защищал А. В. Пешехонова.

танных мечтах и о неотомщенной печали, не последуют за обвинителем. Мы не хотим, мы не можем говорить рабьим языком полуправду о том, о чем всю правду властно и громко скажет только история. Она убедит, что ореол могучих народных движений не может быть затемнен печальными эксцессами. Но напрасно обвинение негодует и клянет задним числом эти эксцессы, ибо читать нотацию революции это все равно, что, — как метко выразился мыслитель, — выражать сетование буре и землетрясению. И он прав. Разве революция — не буря? Разве можно подойти к ней с меркой обычной логики? Конечно, нет, и с ней приходится считаться лишь как с фактом. И первое требование, которое отсюда вытекает для соблюдения судейской справедливости, состоит в том, чтобы не делать ответственными единицы за стихийный порыв сотен тысяч, чтобы не пред'являть, как это здесь имеет место, к двадцати с чем-то лицам обвинение за то, что назрело в душе всей огромной и великой, но задержанной в своем развитии страны. Но обвинение пред'явлено, и теперь приходится на него отвечать. Если этические нормы, руководившие Пешехоновым, его моральные взгляды, научные убеждения для вас важнее, г.г. судьи, если его мысли, вся философия его жизни для вас имеет более серьезное значение, чем его действия, то Пешехонов выдал вам себя головою. Он повторил обычную ошибку искренних и прямодушных людей. Он говорил доверчиво и без оглядки, не думая, что каждое его слово подвергается досмотру прокурора, с целью найти материал для обвинения. И голос сердца, его исповедь была обращена против него же.

Для исповеди ведь нужна, г.г. судьи, тайна и отпущение. Здесь не было ни того, ни другого, здесь тайну слушает прокурор, и его рука ведет аккуратный счет прегрешениям не только делом, словом, но нередко и помышлением! Пешехонов сказал вам, что морально он связан с крестьянским движением, что ему он отдал все свои труды журналиста и ученого. Но он не успел договорить. Он не рассказал вам, как он сам, оставшись после смерти отца, деревенского священника, сиротою, ходил на поденщину, был батраком. Горе крестьянина — его

горе, и редкіе минуты радости — его радости. Но их мало в бедной крестьянской жизни, гораздо больше дней темного, беспросветного горя. Он помнит эти дни и он знает свой долг, г.г. судьи, ведь всякий гражданин, который вырос на русской литературе, даже без различия партий, без деления на правые и левые, знает этот долг пред крестьянством и, по мере разумения, стремится его исполнить. Ведь, все мы немощны, исторически немощны, все мы больны, социально больны. И все мы думали, что после того дня, о котором говорил г. прокурор, можно думать, что прошли эти черные времена, когда голос голодного человека, крик его о том, что ему нужна земля, был преступлением; был преступлением даже тогда, когда голодный стоял около земли и не протягивал руки, чтобы взять ее. И вот голос голода снова раздался. И Пешехонов, и все здесь сидящие поняли, что надо идти на этот зов, что преступно не идти, что тот, кто не пойдет, будет моральным бродягой, не помнящим происхождения своих идей и чувств, не помнящим своего родства с историческими преданиями, с исторической традицией, живущей в русской интеллигенции в силу рождения, в силу воспитания и в силу школы. Миллионами голосов звал интеллигенцию пробудившийся народ. Он требовал дать ему ответ на все зародившиеся вопросы. Он настойчиво требовал формулировки его потребностей и нужд. Он взывал к этим людям: «помогите!» и говорил: «если не вы, так кто же, и если не теперь, то когда же?» И они откликнулись на зов; да, они виновны в том, что не оставили без ответа вопросов тех, кому отдали и молодость и личное счастье. Они пошли, и вот вся жизнь их уже прошла, нет молодости.

Вспомните, г.г. судьи, кто там, далеко в глуши, в деревнях, в обледенелых избах работал на счастье любимого народа? Кто в эти зимние вечера без друзей, без бодрящей поддержки, делал свое маленькое и вместе великое дело? Кто принес себя в жертву, кто отдал жизнь свою и лучшие годы другим? — Это не мы с вами, г.г. судьи. Это они. Они ведь не гастролеры, как пытался изобразить их прокурор, они подвижники, добровольно отдавшие жизнь свою для других. И вот расплата.

Голод, скамья подсудимых и, может быть, осуждение. Г. прокурор сожалел, что против них нет на суде ни одного свидетеля; я также отказываюсь от всех свидетелей, ибо для меня, раз свидетель солгал — здесь ли, или на предварительном следствии — он не имеет цены. Но приведите, г. прокурор, хоть сотню жандармов, которые дадут показания в пользу обвинения, вы все-таки не умалите значения великого подвига этих маленьких людей.

Господин прокурор, осторожно! здесь сидят подвижники! Их наказанием не устрашите, но помните, что наказание, данное не за преступление, есть величайшая из несправедливостей. Перед кем горят чудные огни, зажженные богом любви и долга, того не удержат страхом осуждения и грядущего наказания. И как бы суров ни был ваш приговор, они скажут одно: «а мы все-таки будем стремиться к своей заветной цели» и, оправившись от наказания, они снова пойдут на свое служение, сжигая огнем подвижничества все враждебное, что засоряет их славный путь*).

---

*) В дальнейших частях своей речи О. О. Грузенберг подробно остановился на вопросе о невозможности применения ст. 126 Угол. Уложения к Крестьянскому Союзу и, в особенности, к так-назыв. «бюро содействия», в состав которого заочно был избран А. В. Пешехонов. — Палата оправдала Пешехонова.

ЗАХВАТ ПОВСТАНЦАМИ СТАНЦИИ СИНЕЛЬНИКОВО*)

Три руки протянулись разом к виселице. Три административных руки столкнулись в споре: кто из них вправе захлестнуть петлю? — В начале обвинительного акта торжествует рука генерал-губернатора, в конце — рука командующего войсками одесского военного округа, а во время суда г. прокурор выдвинул руку министра внутренних дел. В сущности — не все ли равно, кто отправит подсудимых на виселицу? Но как-то зазорно впечатление от этих спешащих, сцепившихся рук!... Надо их разнять и определить — какая из них обладает преимущественным правом. В этом отношении я могу лишь подтвердить доводы кассационной жалобы.

Меня занимает другой вопрос. Что производилось в Екатеринославе над революционерами ст. Синельниково? — Суд или расправа? Если расправа, — то к чему эта длительная процедура? — Лучше сразу бы расстрелять.

Если суд, то почему так резко нарушен закон, гарантирующий правильность процессуальных форм?

Читайте протокол судебного заседания: сколько в нем зацеплено нарушений?

Военному прокурору не нравится показание свидетеля; свидетель показывает в пользу подсудимого... Надо терроризировать свидетеля, пускай и другим неповадно будет! И вот

---

*) Дело это слушалось в Главном военном суде по кассационной жалобе Быховского, Тарана и др., приговоренных Одесским военно-окружным судом к смертной казни «за совершение разбоя и грабежей». Приводим речь Грузенберга в Главном военном суде. Обстановка, в которой протекал этот процесс, и впечатление, произведенное речью Грузенберга, живо и образно описаны в воспоминаниях прис. пов. В. В. Бернштама («В огне защиты»).

раздается прокурорское требование: занесите в протокол показание свидетеля, я возбужу против него преследование за лжесвидетельство... Неужели главный военный суд освятит своим авторитетом этот судебный террор? — Прав. сенатом категорически раз'яснено, что сторона может требовать занесения свидетельского показания в протокол, но она не вправе указывать, что это делается с целью возбуждения против свидетеля уголовного преследования. Между тем, одесский военно-окружный суд пренебрег этими элементарными правилами отправления правосудия и как бы поставил перед свидетелями дилемму: либо показывать, вопреки истине, против подсудимых, либо самим подвергнуться их участи. Оказались ли свидетели героями, устояли ли они против судебных угроз — не знаю. Но я знаю, что суд, обращающийся в арену террора, не вправе претендовать, чтобы за его приговором признавали авторитет судебного решения.

Далее. Идет допрос жандармского унтер-офицера Коптева. Не свидетельское показание излагает он пред судом, а политическую сплетню. Длинное, грязное сплетение «охранных» экивоков и лжи, которым, как капканом, накрыл он подсудимых. «Позвольте! Кто вам это говорил? Назовите их имена; мы вызовем их свидетелями!» — спрашивают защитники. Свидетель молчит, но не молчит г. председательствующий. «Это, — отвечает он защите, — служебная тайна». Служебная тайна!... Разве пред лицом суда возможна какая-нибудь тайна, кроме той, которая обусловлена требованием религиозной исповеди, кровного родства и обязанностями адвоката в отношении подсудимого? Но в тот самый день, когда люди присвоили себе страшное право суда и осуждения, они были вынуждены признать, что нет цены, нет жертвы, которых было бы жалко отдать, лишь бы добиться справедливого приговора. Вероятно, главный военный суд знает, что вопрос о соотношении между служебною тайной и интересами обнаружения истины на суде поставлен был на обсуждение сената и разрешен правильно, не без участия военно-судебного ведомства. Как раз в те дни, когда во Франции по делу Дрейфуса разы-

грывалась трагикомедия «служебной тайны», и у нас была сделана попытка легализации секретов от суда.

По делу редактора газеты «Русский Листок» Козецкого, обвинявшегося в клевете, несколько офицеров — членов полкового суда отказались от дачи показаний, ссылаясь на служебную тайну.

Сенат тогда (в 1898 г. реш. за № 7) раз'яснил, что нет таких интересов и благ, которыми нельзя было бы не пожертвовать в интересах раскрытия судебной правды.

По настоящему делу это великое правило было отвергнуто — и г. председатель военного суда нашел, что ни он сам, ни прочие судьи офицеры не вправе проникать в факты, окутанные тайною жандармским унтер-офицером.

Вообще у г. председателя весьма своеобразный взгляд на значение и роль свидетелей, — взгляд, расходящийся с законом. Он установил священное право частной собственности на свидетельские показания и ревниво его охранял от дерзких посягательств.

Идет допрос свидетелей защиты... И вот одному из них, который знает подсудимого Быковского, предлагается его защитником вопрос. Председатель спешит заградить свидетелю уста, дабы не произошло нарушения прав частной собственности: свидетель этот вызван другим подсудимым.

Я не знаю свидетелей обвинения, я не знаю свидетелей защиты. Я знаю лишь свидетелей правосудия. Я различаю лишь честных и безчестных свидетелей, тех, кто говорит правду, от тех, кто показывает ложь. Других отличий я не знаю, ибо нельзя же видеть разницу в том — в каком порядке свидетели вызваны в суд.

С того момента, когда свидетель стал у барьера, он — достояние не лиц, а суда и тех органов обвинения и защиты, через которые осуществляется состязательный процесс. Я полагаю, что ст. ст. 860—864 уст. воен.-судебн. слишком ясно устанавливают порядок допроса свидетелей, чтобы неправильность в этом отношении действия г. председателя могла рассчитывать на оправдание со стороны Главного военн. суда.

Я перехожу к важнейшему моменту процесса — к постановке вопросов.

Здесь кроется ошибка, тем более страшная, что ею, и только ею, обусловлено присуждение нескольких человек к смерти.

Я знаю, что на пути к выяснению этой ошибки передо мною стоит серьезное препятствие: вправе ли я касаться того, на что нет указаний в кассационных жалобах подсудимых?

Прежде всего, вряд ли главный военный суд в вопросе о человеческой жизни станет на почву узкого формализма. — Не станет, думается мне, хотя бы потому, что все дефекты кассационного производства могут быть покрыты усмотрением суда в порядке надзора. Затем, мне кажется, что и формально я вправе поставить этот вопрос, так как, если кассационные жалобы и не касаются его, то все же можно подвести его под указание жалоб на неправильное применение карательного закона.

На чем основан приговор о смертной казни? — Единственно и исключительно на признании в действиях осужденных признаков грабежа и разбоя, влекущих за собою применение жестокого требования 270 ст. уст. воин. о нак.

Но я утверждаю, что такое заключение ошибочно, так как анализ поставленных судом на свое разрешение вопросов доказывает, что в них отсутствуют главнейшие черты этих преступных действий.

Какую бы угрозу для жизни и телесной неприкосновенности ни представляли разбой и грабеж, все же они относятся к сфере имущественных преступлений: в ней их основы и ею, главным образом, они характеризуются.

Нет разбоя и грабежа без признаков «корыстного намерения» и совершения их — «с целью похищения»: достаточно для этого взглянуть на главу III улож. о нак. (о похищении чужого имущества). Между тем в вопросах по настоящему делу совершенно отсутствуют эти признаки. Ни в вопросе о завладении ящиками с порохом, ни в вопросах об отобрании оружия у офицера и жандармского унтер-офицера не содер-

жится ни малейшего упоминания о том, что действия эти совершены «с целью похищения» или « с корыстным намерением».

Не установив этих признаков, суд лишает себя права подводить признанные им действия под разбой и грабеж, а стало быть — и под действие 270 ст. уст. воин. о наказ., знающей лишь одно наказание — смерть.

Под какую же статью можно подвести категорию вышеописанных фактов? — Не будем торопиться. Сначала надо отменить приговор, разсмотреть дело вновь — и лишь после правильной постановки вопросов мы получим возможность судить о том — представлялись ли действия подсудимых революционным актом забастовки, или разбоем. Я не сомневаюсь, что не найдется такого суда, который решился бы назвать политических забастовщиков грабителями или разбойниками*).

---

*) Приговор был отменен.

ДЕЛО ДАШЕВСКОГО*)

Измученный ужасами кишиневской бойни, подавленный волнениями пережитого момента, когда он, дотоле кроткий и мягкий, стал внезапно убийцей, Дашевский в первом же своем об'яснении на следствии сделал все, чтобы отяготить свою участь.

Отвергая свою виновность, он заявил, что он желал смерти Крушевана, искал ее и долго готовился к убийству...

Таким образом, мы располагаем двумя фактами: об'ективным — нанесение легкой раны, скорее даже царапины, — и суб'ективным — стремление подсудимого обратить нанесение легкой раны в предумышленное убийство...

Как связать между собою эти два факта?

Отдать ли исход процесса на волю подсудимого или попытаться добиться материала, который мог бы показать, что руководило, управляло волей подсудимого.

Действительно ли Дашевский искал смерти Крушевана или желал лишь выразить протест против безчеловечной травли целого народа и тем обратить на нее внимание общества? Защитник указал на целый ряд свидетелей для характеристики личности подсудимого и выяснения тех условий, в

---

*) Вскоре после Кишиневского погрома студент П. Дашевский совершил покушение на жизнь редактора антисемитской газеты Крушевана, считавшегося одним из вдохновителей погрома. Дашевский был приговорен к тюремному заключению. На этот приговор была принесена кассационная жалоба, которую поддерживал в сенате О. О. Грузенберг. Речь Грузенберга в сенате печатается здесь по стенограмме. В книге «Вчера» Грузенберг посвятил особую главу своим воспоминаниям о Дашевском (стр. 231-236).

которых он рос и развивался. Он хотел показать суду, каким образом, захваченный мучительными впечатлениями, Дашевский дошел до эксцесса, и показать суду, действительно ли пред ним убийца или лишь глубоко несчастный человек, который пошел на насилие вопреки собственным нравственным воззрениям.

Попытка защитника была судом отвергнута, и на суде не было ни одного свидетеля, кроме очевидцев происшедшего, которого никто не оспаривал. Законно ли это?

По силе сенатских решений, подтвержденных еще решением 1878 года по делу Засулич, исследование всего, что относится к суб'ективной стороне преступления, является для суда обязательным, и в притязаниях этого рода не может быть отказано даже рецидивисту-вору.

За что же в этом праве было отказано Дашевскому, отказано в то время, когда вопрос этот был поставлен, разрешался и разрешен был показанием самого Крушевана?...

Об'явить подсудимому, что его личность, его характер, его побуждения стоят за пределами исследования, поставить его по этому вопросу вне защиты и в то же время дать право нападения его врагу, которому, как удостоверяет протокол, было предложено касаться своей газетной деятельности постольку, поскольку она могла отразиться на чисто суб'ективных чувствах подсудимого, — я не знаю нарушения более тяжкого, более существенного...

Крушеван в роли истолкователя чисто-суб'ективных чувств Дашевского, Крушеван, который до нападения и в глаза его не видал, у которого, может быть, естественно, лишь самая своеобразная точка зрения на эти чувства.

И этот свой взгляд Крушеван невозбранно и широко развивает в судебном заседании.

Чего только тут не было: борец за освобождение Бессарабии от гнета евреев, живущий в вечном страхе перед опасностью подвергнуться участи сербского короля; редактор

единственной русской газеты, которому, однако, администрация отказывает в полицейской защите, он дал на суде полный простор своим страстям.

И тут на подмогу являются безграмотные анонимные письма, исходящие будто бы от евреев, и к числу этих 14-ти грязных безыменных произведений, включенных судебным следователем, вопреки закону и раз'яснениям Сената, в протокол осмотра, прибавляется 15-ое, представленное на суде.

Здесь, в спокойной и безпристрастной атмосфере, вся эта анонимная литература производит, конечно, комическое впечатление, но какое она должна была произвести впечатление там, в зале суда с присяжными заседателями?

Ответ на этот вопрос дает нам протокол судебного заседания.

На присяжных заседателей эти обстоятельства произвели, повидимому, определенное впечатление: «суд-де происходит не над одним Дашевским; там, за его спиною, легионы непривлеченных к суду евреев, которые теснят, давят и угрожают жизни «русского литератора, смеющего иметь по разным вопросам мнение, неугодное евреям»...

И вот со стороны присяжных с прямодушием и откровенностью, свойственными этому институту, ставится Крушевану вопрос:

— Скажите, свидетель, — вы знаете еврейскую литературу — разве для еврея значит что-нибудь убить христианина?..

Ответа на этот вопрос, по распоряжению председателя, конечно, не было...

Но в таких вот условиях производится суд над измученным юношею, которого незадолго перед тем авторитетом судебного определения заверили, что все то, что непосредственно не относится к самому преступлению, будет оставлено за пределами судебного исследования...

Защитник Дашевского сверх того и не протестовал против самого оглашения судом анонимных писем, о которых я уже

упоминал, и отсутствие протеста лишило его права жалобы на это в кассационном порядке. Таковы начала так называемого состязательного процесса.

Вряд ли есть в юридической области другое такое понятие, которое причинило бы столько зла, как это. Ни в одном кодексе это начало, за полной невозможностью, не доведено до конца. И в самом деле: какое может быть состязание между государством, со всем его необозримым арсеналом могучих средств, и отдельной личностью, пришедшей в столкновение с законом?... И неужели же можно примириться с мыслью, что люди посылаются на виселицу или на каторгу не за то, что они действительно сделали, а за то, что неумело защищали себя на суде?... И разве можно успокоиться на мысли о том, что подсудимый по собственному недосмотру или по недосмотру своего адвоката, не воспользовался теми средствами защиты, которые дает ему сам закон?

Разве общественная совесть может успокоиться на том, что подсудимый плохо охранял на суде свои интересы? Их должен охранять суд, тот самый суд, который в интересах государства и общественной необходимости налагает на него наказание за содеянное. Что же говорить о тех случаях, когда на одной стороне государственное обвинение, располагающее опытными, талантливыми и знающими лицами, а на другой — лицо беспомощное, заброшенное и живущее во тьме?...

— Позвольте, — останавливает защитника первоприсутствующий Угол. Касс. Департамента **В. А. Железовский** — это не может иметь отношения к данному случаю, — ведь у подсудимого был защитник, присяжный поверенный.

— Смею думать, что это не колеблет принципа — возражает Грузенберг.

— Вопрос идет о том, все ли должно быть отдано в жертву началу состязательности или над ним должна торжествовать самостоятельность, независимость самого суда.

А если суд самодеятелен, если он пользуется своим правом ссылаться на закон или устранить его применение независимо

от сторон, то как же мог он в данном случае допустить чтение 15-ти анонимных писем в то время, как еще в 1885 году это категорически воспрещено Сенатом?

То зло, которое причинено этим чтением, должно быть исправлено кассацией, как ею же должны быть исправлены и эксцессы, допущенные поверенным гражданского истца, присяжным поверенным Шмаковым.

По существующей практике, излишество речей какой-либо из сторон не может влечь за собою отмены приговора, так как предполагается, что они могут быть ослаблены или впечатление от них может быть уничтожено ответом или доводом противника. Но в настоящем деле это начало не может иметь применения.

В речи прис. пов. Шмакова было допущено нападение не на личность подсудимого или противника-адвоката, а на закон, на первоосновы нормального отправления правосудия.

Можно думать, писать и говорить, что угодно о евреях: это дело совести каждого, но не из чувства справедливости к евреям, а из уважения к суду и закону не должна была, не могла быть допущена попытка путем воздействия на страсти присяжных поставить подсудимого еврея вне закона.

А присяжный поверенный Шмаков определенно стремился лишить присяжных заседателей надлежащего спокойствия и беспристрастия и потребовалась вся высота мужества, спокойствия и самоотвержения присяжных судей, чтобы выслушав категорическое заявление о том, что совершение евреями ритуальных убийств стоит будто бы вне сомнения и будто бы доказано документальными данными, сохранить всетаки необходимый минимум беспристрастия и доброжелательности в отношении того, кто способен, по мнению поверенного гражданского истца, быть может завтра зарезать твоего ребенка. И если присяжные заседатели могли в этой тяжелой атмосфере ненависти, вражды и ложных обвинений, не сдержанных запретом председателя суда, сохранить этот минимум беспристра-

стия, то надо склониться перед ними в немом благоговении, но еще громче и настойчивее просить у высшего суда, надзирающего за правильным применением закона в нашей стране, об исправлении допущенных нарушений его и отмене приговора*).

---

*) Сенат оставил кассационную жалобу без последствий.

В разбиравшемся в 1904 году деле о Кишиневском погроме Шмаков выступал защитником обвиняемых громил, а Грузенберг — одним из поверенных потерпевших евреев. Приводим выдержки из реплики Грузенберга на одно из выступлений Шмакова в этом процессе. «Господину Шмакову, — сказал Грузенберг, — дана была здесь возможность заявить на нас донос... Воспользовавшись словами одного из наших товарищей, Шмаков позволил себе заявить суду, что мы являемся представителями еврейского народа, преследующими лишь одну цель: опозорить русский народ и его суд. Заявляю торжественно и требую занесения этих моих слов в протокол: я считаю себя членом русского общества... и я всегда готов биться за всякую народность, несправедливо угнетаемую. Я с таким же рвением ездил на защиту осетин и других народностей, без всякого различия их языка и веры, как на защиту евреев, и интересы России мне во всяком случае не менее дороги, чем г. Шмакову... Нам говорят, что мы стремимся опозорить Россию. Чем? Доказывая зверство толпы, совершившей преступление, и изобличая виновных? Я думаю, что я вправе сказать, что убийцы, насильники и грабители, бесчинствовавшие в течение трех дней в Кишиневе, менее позорят нашу страну, чем тот, кто, явившись в суд для защиты подсудимых и забыв о них, сводит свои личные счеты с ненавистной ему, угнетаемой национальностью».

ДЕЛО ПОНОМАРЕВА, ЗИМИНА И ЛУДАННИКА*)

Приговором приамурского военно-окружного суда в гор. Благовещенске крестьяне Пономарев, Зимин и Луданник признаны виновными в убийстве и приговорены по ст. 279 устава воинск. о нак. к смертной казни через повешение.

На этот приговор осужденные принесли кассационную жалобу, в которой указывали на отказ суда в вызове свидетелей.

Представлявший в заседании главного военного суда интересы подсудимых, присяж. повер. О. О. Грузенберг высказал, приблизительно, следующее:

«Перед вами — жалоба трех осужденных на смерть; из них двое — совсем еще юноши, едва перешагнувшие семнадцатилетний возраст. Они судорожно цепляются за жизнь, бьются за нее, но средствами вполне законными; между тем приговор суда, отнимающий у них жизнь, — незаконен. В этом деле — заурядном и несложном — сказались, как нельзя ярче, все отрицательные стороны, внесенные в судебное дело законом 1907 г. о суде по законам военного времени, — о суде, как бы, на театре войны. Закон этот породили интересы политической борьбы, ими обусловлена своеобразная быстрота судопроизводства, — быстрота, достигаемая исключительно за счет подсудимого. Он — и только он один — расплачивается за нее, нередко страшно дорогою ценой, свободою и даже самою жизнью.

У него отнята возможность сообразовать серьезно средства защиты со средствами обвинения, ибо, вместо обычного семидневного срока, он должен в несколько часов, иногда минут, по вручении ему обвинительного акта и

*) По судебному отчету журнала «Право».

списка судей, указать нужных свидетелей, указать экспертов. Да, — в несколько минут... Ибо срок определен в законе одним словом — «немедленно» — и от усмотрения судьи зависит обратить его в минуты... Кассационной проверки, — даже в тех редких случаях, когда волею надлежащего начальства она допущена, — здесь нет, да и не может быть... Практика главного военного суда знает случай отказа подсудимому за пропуском срока в вызове свидетелей, хотя просьба о том была заявлена по истечении 24 часов с момента вручения обвинительного акта. Отказ этот пришлось вам, гг. судьи, санкционировать потому, что закон 1907 г. не знает ни дней, ни часов, — он знает лишь один счет: «немедленно».... Одинокий, несведущий в процессуальных вопросах подсудимый стоит беспомощно перед тяжким обвинением, грозящим смертью, торопливо ищет средств к защите, торопливо называет их. Скорее, скорее: небольшое промедление, забвение имени свидетеля, недостаточно искусная мотивировка ходатайства — и все погибло. Так подготовляется будущий суд, так создаются средства к защите.

Роковую опасность этого неудержимо-быстрого темпа судебной машины ослабляет одна лишь гарантия. Ее создал закон, вне ее нет спасения, — мы обязаны ее соблюдать. Гарантия эта указана в ст.ст. 1379, 1380 и 1381 уст. военно-суд., по редакции 1907 г. После дачи делу хода, суд обязан вызвать подсудимого, прочесть ему обвинительный акт и прочие, установленные законом, документы, выслушать заявление его о свидетелях, экспертах и т. п., и тут же (во всяком случае не позднее следующего дня) его обсудить. Итак, сам суд должен, по мысли законодателя, заменить подсудимому защитника: он должен помочь ему разобраться в вопросах, возникающих по оглашении обвинительного акта, он обязан содействовать ему в формулировке ходатайств, заранее отметая негодную и заменяя ее надлежащею. Так предписывает закон. А вот как он применяется на практике.

Подсудимых, содержащихся вне места нахождения военно-окружного суда, — а таких подсудимых — подавляющее

большинство, — никогда не доставляют в суд, никогда суд не читает им обвинительных актов, не раз'ясняет их прав, не принимает от них словесных заявлений. Никогда. Эта важная, установленная законом, гарантия существует только на бумаге; в действительности — она отменена. Все эти обязанности перенесены с суда на чинов тюремной администрации, — перенесены вопреки точному смыслу закона.

Обвинительный акт и все приложения к нему отсылают в контору тюрьмы — и на том кончаются все заботы суда. Кто и как вручает эти бумаги подсудимым, что им при этом раз'ясняется, отбираются ли от них установленные законом заявления — контроля никакого. Лишь бы имелась росписка во вручении, — до всего остального никому дела нет. Вы сейчас слышали, г.г. судьи, что обвинительные акты подсудимым Пономареву, Зимину и Луданнику вручил и. д. помощн. смотрителя тюрьмы; он же дал им юридическое раз'яснение их прав и обязанностей — и, притом, так напутал, что подсудимые пропустили все сроки на вызов свидетелей. Суд пишет, что они должны указать свидетелей немедленно, и тюремный чиновник назначает им 7-мидневный срок. Когда суд убеждается в происшедшей ошибке, он винит не себя, не тюремного чиновника, а подсудимых — отказывает им в вызове важных свидетелей за пропуском срока.

Итак, — ускорение процесса — за счет интересов подсудимого; ошибки административного чина — все за тот же счет. А расплата — не малая, расплата суровая — жизнь.

Скажут: печальный случай; виноват тюремный чиновник. Будем справедливы: в чем его вина? — В том, что он, скромный, недостаточно образованный чиновник и плохой юрист? Но, ведь, он и не претендует на те судебные функции, которые на него, вопреки закону, возлагают. — Говорят: что ж поделаете; нельзя, ведь, всех подсудимых свозить в место постоянного пребывания суда для вручения обвинительных актов? Можно или нельзя — не нам в этом разбираться. Об этом надо было подумать, когда в 1907 г. писался закон. Но сейчас, пока закон существует, пока он не изменен, — его надо исполнять

с тщательною точностью; не прощают же нам, скромным гражданам, малейшего несоблюдения закона!

— В тех случаях — учит решение 1909 г., за № 35, — когда документы (обвинительный акт и пр.) вручаются подсудимому не самим судом, а через должностных лиц, по месту содержания подсудимого, заявление подсудимого, вместе с роспискою его в получении этих документов немедленно препровождается в суд; при этом в самой росписке подсудимого должно быть обозначено, были ли врученные подсудимому документы прочитаны ему (прочитаны!), и заявлял ли он желание вызвать новых свидетелей, неуказанных во врученном ему списке, или не заявлял. — Конечно, эти средства — паллиатив; паллиатив — потому, что где же скромному тюремному чину управиться с важными судебными обязанностями! Но даже эти скромные гарантии на деле не исполняются. Что далеко ходить за доказательствами? Благоволите, г.г. судьи, взглянуть в требования, которые суд послал по этому делу тюремной администрации. Есть ли в них малейшее указание на то, что прилагаемые обвинительные акты должны быть прочитаны подсудимым; есть ли раз'яснение, что подсудимые должны быть опрошены — каких свидетелей и экспертов они желают вызвать и что заявления их по этому вопросу должны быть записаны в протокол. Ничего этого нет. Стало быть, ни закон, ни даже ваше раз'яснение на практике не соблюдаются — и огромная категория подсудимых — тех самых, кому смерть близко глядит в глаза, — стоят вне элементарной защиты их процессуальных прав. Вне всякой защиты.

Вне ее, как вы видели, г.г. судьи, были поставлены и подсудимые Пономарев, Зимин и Луданник. Виновны ли они перед законом — я не знаю, ибо приговор о них не вступил еще в силу. Но что закон перед ними виноват — в этом для меня нет ни малейшего сомнения*).

---

*) Главный военный суд определил: состоявшийся о подсудимых Пономареве, Луданнике и Зимине приговор отменить, передав дело для нового рассмотрения в другом составе суда.

СТАТЬЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО ПОД СУДОМ*).

— Не смягчайте обвинения, г. прокурор. Подсудимый смелее вас. Он не желает прятаться за недочетами следствия: книга вышла, книга получила распространение, ее читали тысячи тѣх, пробуждения которых вы так страшитесь. Платите же смелостью за смелость. Зовите на суд того, кто написал эту «преступную» статью. Скажите громко, скажите на весь мир, полный благоговейного восхищения перед его гением, что родина, наконец, его поняла, оценила, нашла венец для его славы... в статьях уголовного уложения. Шлите же ему вызывную повестку. Еще 11 лет т. н., когда прокуратура и жандармы арестовали женщину-врача за раздачу его произведений, Л. Н. Толстой обратился к министрам юстиции и внутренних дел с письмом, в котором он обвинял их в жестоком малодушии. Не мучайте — писал он — тех, кто печатает и раздает мои книги, виноват во всем я — и вперед заявляю, что буду, не переставая, до своей смерти делать то, что правительство считает злом, а я считаю своей священной перед Богом обязанностью.

Министры не осмеливались привлечь его к суду. Не осмеливаетесь это сделать и вы, г. прокурор. Я знаю причину ва-

*) В 1906 г. в журнале «Всемирный Вестник» была напечатана статья Л. Толстого «Единственное средство», в которой прокуратура усмотрела «возбуждение к неповиновению законам и законным распоряжениям властей» (в частности, к неисполнению воинской повинности). Редактор журнала, С. С. Сухонин, был предан суду. Приводим защитительную речь Грузенберга в заседании С. Петербургской суд. палаты. Речь приводится по (неполному) отчету в журнале «Право». Вступительные замечания Грузенберга являются ответом на речь тов. прокурора Шульгина, предлагавшего подвергнуть Сухонина менее строгому наказанию (по ст. 132, а не по ст. 129 угол. улож.), так как следствием не установлен факт выпуска и распространения данного номера журнала.

шего страха. Вы боитесь встречи с тем, кто в стране расстрелов и истязаний проповедует закон Бога, вы боитесь стать лицом к лицу с этим гигантским воплощением мировой совести. А вдруг он скажет вам: я проповедую лишь то, что написано в книге, на которой клялись вы, г.г. судьи, в том, что будете судить, а вы, г. прокурор, в том, что будете настойчиво обвинять.

Председательствующий: Г. защитник! Прошу вас не задевать г. прокурора.

Присяжн. повер. О. О. Грузенберг: Конечно, я знаю, что слова обвинения здесь более охраняют, нежели слово Божие. Но я не знал, что слова Христа, мудрецов Гиллеля и Конфуция: «не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе», пользуются здесь такой односторонней симпатией. Уложение о наказ. гласит: «не убий!» Но когда того же требует религия и мораль, происходит конфликт.

Религия запрещает всякое убийство, а уложение лишь то, на которое нет разрешения. Кто убивает, повинуясь голосу своей страсти, — тот убийца; кто же убивает, подчиняясь чужой страсти, — тот герой.

Не подходите, г.г. судьи, с этою меркою к нравственно-религиозному учению. Оно не может состоять на правительственной службе. Если вы думаете иначе, отберите у ваших детей Евангелие. Оно толкает их на те же преступления, что и проповедь Толстого.

Прокурорский надзор оттого оказался в области морали, что не умеет ясно отмечать границы права. Право защищает установленный политический и общественный строй от посягательств на него преступным действием и призывом к нему. Мораль и религия не заботятся о замене одной политической или экономической формы другою. Нет, — они революционизируют душу и совесть, стремясь создать в них такие психологические предпосылки, при которых ружье не стреляет, себялюбие никнет и хиреет, а голос сострадания сближает далеких и роднит враждебных.

Напрасно здесь старались прочесть скороговоркой, шопотком проповедь любви. С тех пор, как раздался призыв: «будьте совершенны, как отец ваш небесный», перед человечеством зажегся яркий, неумирающий идеал. «Будьте совершенны»: это значит не довольствуйтесь существующими формами политической жизни. «Будьте совершенны»: это значит не каменейте в несправедливом укладе экономически-общественных отношений. «Будьте совершенны»: и человечество, нередко ошибаясь и спотыкаясь, неудержимо рвется вперед и вперед. Не страшась виселиц, тюрем и палачей, оно разбивает железные путы обмана, суеверий и личных привязанностей.

И не обвинительным актом, возстающим против завета «не убий!», — победить это безостановочное, вечное движение.

Толстой много лет тому назад писал, что люди нашего времени еще могут жить языческой жизнью, но уже более не могут ее исповедывать. Он ошибся. В С.-Петербурге не только исповедуют язычество, но и проповедуют его с прокурорской трибуны*).

---

*) Подсудимый С. С. Сухонин, воспользовавшись правом последнего слова, указал, что, состоя в течение 8 лет редактором-издателем, он отлично знал все способы распространения воззваний; к числу их, конечно, нельзя отнести издание ежемесячного журнала, имеющего узкий ограниченный круг читателей. Его целью было дать любителям русской литературы возможность ознакомиться с гонимыми сочинениями писателей, находившихся под запретом прежней цензуры. Его журнал стал сборником, коллекцией таких драгоценных произведений русской литературы и был абсолютно чужд каких-либо целей политической агитации: в нем даже отсутствовали отделы внутренней и внешней политики. Статья, которую ставят ему в вину, ни в каком случае считаться преступной, равно как не может считаться преступной деятельность, направленная к собиранию произведений гениев русской литературы. Указав затем на те трудности, с которыми была сопряжена его скромная деятельность собирателя произведений Толстого, С. С. Сухонин настаивал на том, что эта деятельность не заключает в себе элементов преступности.

После продолжительного совещания, суд. палата постановила: признать С. С. Сухонина по суду оправданным.

III. ПИСЬМА

ИЗ ПИСЕМ О. О. ГРУЗЕНБЕРГА К А. А. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРУ

1938—1940 гг.

I.

18 марта 1938 г. 78 rue du Maréchal Joffre
Nice

Дорогой Алексей Александрович!

У меня к Вам просьба — деловое предложение.

На-днях выйдет, наконец, в свет моя книга («Вчера»). В ней 240 страниц крупного формата, напечатанных петитом. Само собой разумеется, я пошлю Вам экземпляр. Что касается ее достоинств, — ограничусь ссылкой лишь на двух компетентных лиц — редактора «Соврем. Записок» И. И. Бунакова (Фондаминского) и П. Н. Милюкова. Первый нашел ее «замечательной», а второй написал мне, что я не только вправе, но обязан напечатать ее.

У меня к Вам следующая просьба:

1) Разместить книгу в солидных книготорговлях Америки...

2) Я хотел бы, чтобы книга была переведена на английский язык, притом хорошим переводчиком, и соответственно издана...

Осуществимо ли это и возьметесь ли Вы за осуществление?

Всего хорошего. Надеюсь, что Вы уже наметили пути деятельности. Желаю Вам от души всякого успеха.

Ваш О. Грузенберг.
78, rue du Maréchal Joffre

II.

1 июля 1938 года.

Дорогой Алексей Александрович!

...Насколько могу судить о международной ситуации, разбойничающие три державы — Германия, Италия и Япония —

очутились в таком положении, что должны будут присмиреть и даже попрошайничать, если смиренномудрие современного английского правительства не послужит тому препятствием.

. . . .

. . . .

Правду сказать, меня раздражает судьба моей книги, к которой применим мой экспромпт относительно «Права». Это было в первые месяцы жизни этого журнала, когда я был членом редакции. Подписка шла отвратительно, новых пайщиков не удавалось привлечь, а И. В. Гессен усердно угощал нас откликами бесплатных абонентов из числа провинциальных судейцев и поверенных. Меня это рассмешило и я разрешился экспромптом:

«Словно пава, ходит «Право» средь других газет:
Бога херит, в черта верит, — а подписки нет.»

Бог меня наказал: стишки эти обернулись теперь против меня, — да еще с дополнительным конфузом: экземпляры тают, а деньги не поступают. Везде обширные рецензии, одна другой хвалебней, одна другой авторитетней, а я, словно «дівчина» в байке, должен сказать о себе: «Ой, мамо, хлопці міне так люблят, що из-за щіпков світа не бачу».

Не весело у меня на счет здравия (опять повторение пройденного), невесело с сыном, а два моих добрых друга — Яков Львович*) и доктор Б. А. Членов сильно тревожат меня... Правда, все мы — старики, упорно цепляющиеся за косяк выходных дверей из-за скверной привычки «жить» и детского любопытства: «а что дальше?» О нас небесная канцелярия как будто забыла, — но неотвратимое сделает свое дело: dies certus an, incertus quando**) нас не обойдет. Впрочем, это не тема для дружеского письма.

---

*) Тейтель.

) «Срок, который несомненно наступит, но неизвестно, **когда наступит» (определение римского права для неизбежных, но неопределенных, в отношении срока, событий).

24 сентября 1938 г. III.

Дорогой Алексей Александрович!

Как хорошо, что Вы порвали с Европою. Здесь все обнелепилось и охвачено параличем воли, которым отлично пользуется незанумерованный в списках о судимости убийца Гитлер. Когда «дядька Савельич» убеждает Гринева поцеловать ручку у «злодея» (Пугачева), он, все же, добавляет: «поцелуй и плюнь». А тут все целуют взапуски и никто не сплевывает... Непритязательны стали руководители мировой политики. Ходить за примерами недалеко: гордый лорд едет в стан разбойников молить о мире всего мира, а такой умница, как Рузвельт, шлет пастырское послание: «Чада мои! Облобызайте друг друга, а я за благонравие открою вам кредит золотом». А Гитлер ему в ответ: «Я конфеток не клюю, не люблю я чаю, — в поле мошек я ловлю, зернышки сбираю».

А между тем, стоило бы Рузвельту заговорить грудным голосом: «К чорту splendid isolation! Если разгорится мировой пожар, Америке, все равно, не избежать участия в побоище. Я заявляю, что становлюсь на сторону демократий всей нашей мощью». Такой язык для Гитлера понятнее всякого другого, а оробевшим народам он вернул бы мужество.

Впрочем, чего мне путаться: я свой срок отбыл, живу одними воспоминаниями — оплачиваемыми, а более того неоплачиваемыми. Теперь написал много глав о белом движении — союзе сабли с банками. Однако, печатать не только отдельной книгой, но и частями, в периодических изданиях, неудобно...

Напишите подробно, если можно, о себе. Был у нас вчера Яков Львович*). Он отлично отдохнул и поправился. Надо надеяться, что он доживет до своего столетия**). Дай ему Господь, а мне пусть скорее пошлет кончину безболезненную. Устал невыразимо и надоело. Но это я Вам по секрету.

Вам же всего хорошего и бодрящего. Ваш О. Грузенберг

*) Тейтель.

**) Я. Л. Тейтелю было тогда 88 лет. Он скончался в феврале 1939 г.

IV.

13 октября, 1938 г.

Молю о скорейшем призыве — забыла обо мне небесная канцелярия... Мне демократические государства еще более противны, чем тоталитарные: паралич воли, предательство и трусость.

V.

25 октября, 1938 г.

Как все грустно у нас, в Старом Свете. Надвинулось средневековье тем более тяжкое, что нервы наши XX века...

Всетаки, не стану выпускать второй книги. Никому она не нужна: чего писать о печальном прошлом, когда современность еще мрачнее и просвета неоткуда ждать. О евреях не то что говорить, но и думать страшно...

VI.

7 декабря 1938 г.

. . . .

. . . .

О себе могу сказать лишь одно: чувствую себя глубоко оскорбленным в'ездом Риббентропа в Париж бескровным победителем. Начинаю думать, что Гитлер и его присные — самые умные политики и дипломаты. В тот момент, когда общественное негодование Англии и Америки по поводу погрома и грабежа достигло высшей точки, Гитлер тушит его апробацией со стороны Франции. «Милости просим, дорогой гость», — говорит страна свободы и совести. Большей обиды не придумать. Добро бы, если бы это было сделано для практических целей. Но никто во Франции не придает, конечно, значения гитлеровской демонстрации раболепства со стороны правительства, которое думает только о том, как бы эпатировать левых. Все это кончится бедою: либо революциею, либо полной национальной прострациею.

А о сотнях тысячах мечущихся евреев мне тяжело писать: тут нужна действенная помощь, а не декламация, хотя бы и

искренняя. А чем помочь, не знаю: единственно кто мог бы помочь — это Америка, если бы отвела на юге, где культуры и населения мало, небольшую площадь для образования суверенного еврейского государства. Средства денежные для такой цели можно было бы раздобыть. Если бы я знал английский язык, занялся бы пропагандированием этой мысли. Писать же об этом в еврейских газетах наивно, так как это значит вариться в собственном бульоне.

Закончил вчерне, как уже писал Вам, второй том воспоминаний. Но боюсь издать, ибо это связано с затратою последних душевных сил и материальных средств, которые, в виду надвигающихся событий, могут не окупиться. А события будут для Европы катастрофические: уверен, что недалека общеевропейская война. Что же касается России, то, если не произойдет чуда, ее обкарнают до пределов старой Московии. Меня это удручает, так как России я обязан всем, начиная с ее языка.

. . . .

. . . .

Надеюсь получить от Вас скорый ответ, который дойдет до меня только в январе. Примите лучшие пожелания к Новому Году.

Ваш О. Грузенберг.

VII.

(21 октября 1939 г.).

Дорогой Алексей Александрович!

Письмо Ваше получил лишь сегодня (21-го). Шло оно, значит, 16 дней. Насчет сестер своих можете быть спокойны... Ницца, в виду нынешней позиции Муссолини, наиболее безопасное место. Конечно, и тут всякие «алерты» и тьма кромешная, но скоро она будет отменена.

Вопреки Вашему унынию и маловерию, я не сомневаюсь в победе союзников, — может быть, потому, что не хочу сомневаться. Лучше гибель, чем рабство!

Немцы д о л ж н ы быть разбиты и будут разбиты.

Если даже допустить на минуту, что Ваше мрачное пред-

чувствие оправдается, — то, все же, война эта справедливая и честная. Пусть даже погибнет Европа, но нельзя безропотно итти в рабство.

Я думаю теперь лишь о том, как Германия будет расколочена на мелкие княжества, промеж которых будут поселены комбатанты для строгого надзора за этими арестантами.

Вот уже второй день, как чувствую себя радостно по поводу союза с Турциею. Дело не только в большой военной ценности этого союза, но для меня он ценен тем, что умные и осторожные турки уверены в франко-английской победе.

Ваш О. Грузенберг.

VIII.

78 r. du Maréchal Joffre a Nice

27 ноября 1940 г.

Дорогой Алексей Александрович,

Разрешите сразу вступить in medias res. Я закончил второй том моих воспоминаний. По об'ему он, приблизительно, такой же, как и первый («Вчера»). По содержанию П. Н. Милюков, которому, как всегда, я предварительно посылаю для откровенной критики, нашел его глубже и интереснее первого. Вот краткое оглавление:

1) Вместо предисловия (Переживания политического защитника);
2) Совет рабочих депутатов и суд над ним (со включением характеристики Носаря-Хрусталева, Троцкого и Сталина, хотя не участвовавшего в Совете, но столкнувшегося впоследствии с Троцким и предрешившего его судьбу);
3) «Судороги» (Одесса и Киев при «красных» и «белых»);
4) «Кровавый навет» (дело виленского фельдшера Блондеса, где мне пришлось вступить в борьбу со Спасовичем и моим патроном Мироновым, настаивавшими на примирении с обвинительным приговором,

признавшим вместо предумышленного покушения на убийство, предумышленное нанесение ран (арестантские отдел.); по моей кассационной жалобе (которую Спасович и Миронов отказались подписать), последовала отмена Сенатом приговора и оправдание Блондеса; моя речь по этому делу была, по распоряжению Paul Nathan, напечатана в Берлине на русском языке; один экземпляр был удачно провезен Розой Гавриловной);

5) «О свободе судебного слова» (в связи с делом нашего коллеги Гиллерсона, осужденного за речь, произнесенную в качестве гражданского истца по Белостокскому погрому);

6) «О Шевченке» (статья юбилейная, встретившая одобрительный отклик в украинской печати);

7) «Цветы нерасцветшие» (о загубленных детях);

8) Дело податного инспектора Романовского, осужденного первой судебной инстанцией; по просьбе Карабчевского я защищал Романовского во второй инстанции в Тифлисской Судебной Палате (суде коронном); Палата оправдала; вся трудность была в том, что на следствии подсудимый, бывший во время события в подвыпитии, заявил, что он не может дать себе отчета, — было ли то убийство или самоубийство. Я считаю свою речь в Палате лучшей из моих речей по содержанию и форме. Я озаглавил в своей книге это дело «Убийство или самоубийство?» Такое дело как раз для американской публики по своей загадочности.

Моя просьба к Вам: продать мои авторские права любому издательству для выпуска на английском, еврейском и, если пожелаете, и на русском языке. Если издательство не пожелает на русском, то все права для издания на этом языке сохраняются за мною.

Прошу Вас отнестись к моей просьбе, как всегда, сердечно.

Лично о себе ничего хорошего сказать не могу: еле передвигаюсь даже в своей небольшой квартире при помощи Розы Гавриловны, которая и сама весьма сдала («укатали сивку крутые горки»). Страдая бессонницей, я провожу большую часть суток за письменным столом. Увлеченный работою, я забываю физические и душевные страдания... Вот Вам последний акт пьесы, именуемой «Жизненный путь семьи Грузенберг».

II.

Если можете продать мои авторские права на первый том моих воспоминаний («Вчера»), буду благодарен; к нему кой-какие поправки и дополнения (всего несколько строк).

. . . .

. . . .

III.

Напишите мне форму доверенности Вам на английском языке, дабы дать Вам возможность и формального права на заключение сделки с книгоиздательствами.

О том, что происходит у престарелой распутницы Европы, Вы, конечно, знаете. Скажу лишь словами Некрасова: «Бывали хуже времена, но не было подлей».

Преданный Вам

О. Грузенберг

Не откажите ответить мне par avion et recommandée.

Сейчас узнал, что моему другу Исааку Адольфовичу Найдичу удалось проехать из Парижа в Америку. Будьте добры справиться в нью-иоркской сионистской организации (он — глава французских сионистов) об его адресе. Это можно по телефону. Простите, что беспокою*).

---

*) Это письмо было получено в Нью-Иорке 6 января 1941 года, десять дней после кончины О. О. Грузенберга.



О. О. ГРУЗЕНБЕРГ С ВНУЧКОЙ

Ницца — 1939.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

I.

(Декабрь, 1906)

Дорогой Оскар Осипович!

Думаю, что теперь уже не стоит мне вступать в прю с прокурорами, — дадим им амнистию и — да исчезнут! А здоровье мое неприятно. Был большой плеврит. Вот уже месяц сижу дома с компрессами, мушками и прочими неудобствами. Кожа раздражена, нервы — того больше. Зол, как черт. Супруге Вашей кланяюсь и жму руку Вам. Думаю, что скоро доктор меня выпустит на волю, тогда приеду в Питер и увижу вас.

А. Пешков.

II.

(1908 г.)

Дорогой Оскар Осипович!

Удивили Вы меня вашим вопросом — защищать-ли Арцыбашева?

Мне кажется, что в данном случае — нет вопроса: на мой взгляд, дело не в том, что некто написал апологию животного начала в человеке, а в том, что глупцы, командующие нами, считают себя в праве судить человека за его мнения, насиловать свободу его мысли, наказывать его — за что?

Что такое — писатель? Тот или иной строй нервов, так или иначе организуемый давлением психической атмосферы, окружающей его. Человек наших дней мучительно беззащитен от влияний среды, часто враждебных ему — беззащитен, потому что психически беден, бессилен. Подбор впечатлений,

западающих в душу — вместилище опыта — не зависит от воли Арцыбашева, Тимофеева, Иванова. Тимофеев, быть может, очень целомудренный и чистый парень, но количество и качество воспринятых им наблюдений над действительностью невольно заставит его избрать героем своим Дю-Лю. И очень возможно, что Санин противен Арцыбашеву не менее, чем мне. Может быть, Санин плохо изображен — но можем-ли мы утверждать, что он выдуман?

Вы извините меня за грубое сравнение но — многое в современной литературе похоже на рвоту. Люди отравлены впечатлениями бытия и — хворают. У огромного большинства ныне пишущих недостаточно развита — а у многих и совершенно не развита — способность организма к сопротивлению социальным ядам, проникающим в него. Психика — неустойчивая, всегда тревожно колеблющаяся. Прибавьте к этому впечатлительность почти болезненно повышенную и полное отсутствие того корректива, который способен произвести внутри, в мозгу писателя, работу отбора впечатлений, организацию их. Мне кажется, что этот корректив — ощущение мира, как процесса активного, динамического, процесса, в котором все временно, только движение вечно. Знаю, есть люди, утверждающие, будто движение это — бессмысленно, оскорбительно для гордости человеческой — но знаю так же, что всего менее истинно человеческой гордости именно у тех, кто о ней говорит часто и громко. А для меня жизнь полна смысла — она великолепнейший процесс накопления психической энергии, — процесс очевидный, не отрицательный, и, может быть, — способный даже мертвую материю превратить в чувствующую и мыслящую.

Но — мои взгляды излишни в данном случае, и я извиняюсь, что сбился с линии. Ваш вопрос, повторяю, удивил меня очень, — в нем слишком громко звучит для моего уха то печальное разобщение людей, та психическая разбитость, отчужденность, которая и губит стольких в наши боевые дни.

И еще раз — извиняюсь, но должен сказать, что мы поступали-бы разумнее и красивей — если-бы об'единялись

на защите одного из наших — Арцыбашева, как в данном случае, или кого-либо иного, все равно! — Наш враг — пошлость, в которой вязнут наши ноги по колена и которую так усердно и умно разводят в жизни те, кому пошлость необходима, как грязный ров, преграждающий доступ в крепость их.

Процесс против Арцыбашева — пошл и нагл, как все эти так называемые «литературные» процессы.

Спасибо Вам за доклад о «Матери». Он мне показался очень глупым, — да не обидятся люди из комитета глупостей по делам печати.

Но в этом есть и нечто досадное для меня: обращая на меня столь часто свое внимание, все эти начальства сильно способствовали моей т. н. «популярности», продолжают способствовать и теперь. Это мешает жить, как, напр., мешают блохи, москиты и иные насекомые. Не думайте, что я рисуюсь, но неприятно, когда о человеке пишут в газетах. По моему, это допустимо лишь в тех случаях, когда трамвай сломает тебе ногу, или ты кончишь самоубийством, или публично поцелуешь незнакомую даму без ее разрешения.

Ну, вот, сколько я наболтал! Вы, однажды, жаловались, что не пишу — вот вам!

Розе Гавриловне мой сердечный привет. М. Ор. — кланяется.

Жму вашу руку. И очень благодарю.

На днях здесь был Буренин, много говорил о вас.

Всего доброго!

А. Пешков.

III.

2 Декабря 1909 г.

Дорогой Оскар Осипович!

Примите сердечное искреннейшее спасибо! Я думаю, что Мать — по тону ее — вещь своевременная и, может быть, десяток-другой людей, прочитав эту вещь, — вздохнут полегче. Мне хотелось бы, чтобы такие люди — если они улыбнутся — знали о вашей доброй помощи им в то тяжкое

время, когда всем живется грустно. Проще говоря — моя задача поддержать падающий дух сопротивления темным и враждебным силам жизни, и вы помогли мне осуществить это. Я высоко ценю вашу помощь, крепко, дружески и благодарно жму вашу руку. Поклон и почтение супруге вашей, всех благ и — главное — доброго здоровья вам.

А. Пешков.

IV.

Римини, 9. VII 13

Дорогой Оскар Осипович!

Спасибо за Ваше доброе письмо и любезную Вашу готовность помочь мне в делах моих.

В Россию ехать я решил, но еще не знаю, когда сделаю это, ибо обременен делами разными, которые необходимо закончить здесь, и не совсем хорошо чувствую себя — кашель одолел. Необходимо поправиться, чем и занимаюсь усердно. Возможность суда и прочих неприятностей ни мало не стесняет меня — да и раньше не стесняла, — но хочется приехать здоровым, бодрым. Думаю, что скоро всетаки увидимся, и я крепко пожму Вашу руку — с большой радостью увижу Вас!

Кланяюсь семье Вашей

А. Пешков.

V.

9 сент. 1913 г.

Дорогой Оскар Осипович!

Не будете-ли Вы любезны взять на себя ведение дела по взысканию с г.г. Дмитрия и Всеволода П... их долга мне? Сумма долга, вероятно, превышает 10.000 (десять тысяч) рублей, с %%, оговоренными условием, — больше. Если вы согласны вести это несложное дело, — г.г. П... признают долг, что засвидетельствовано их письмами, — будьте добры телеграфировать мне об этом, я немедленно вышлю Вам мою переписку с П... и распоряжусь, чтобы контора «Знания» доставила

Вам копию моего условия с ними. Гонорар Вы назначите сами — сообразно Вашим нормам. Прошу Вас также прислать мне, в случае согласия Вашего, печатный текст доверенности, кою я должен Вам выдать, и указать порядок засвидетельствования ее. Каприйский нотариус по моей просьбе наводил справки и говорит, что он засвидетельствует мою подпись, а русский консул — его удостоверение — доверенность будет вполне законна. Я был бы очень рад и весьма благодарен, если бы Вы взяли на себя это дело или передали его одному из Ваших помощников. По условию, как Вы это увидите, г.г. П... должны были уплатить мне деньги четыре года тому назад.

Желая Вам всего доброго, крепко жму руку

А. Пешков.

VI

20 сентября 1913

Дорогой Оскар Осипович!

Я очень рад, что Вы взяли на себя ведение дела с П... и сердечно благодарю Вас.

Посылаю письма П..., — по ним Вы увидите, что эти господа держались по отношению меня не очень корректно.

Договор с ними Вам передаст С. П. Боголюбов, он же сделает все расчеты, о чем ему написано. Усердно прошу Вас дать делу, по возможности, быстрый ход. Может быть, к делу этого типа применимо предварительное исполнение? Читали Вы комедию Жаботинского «Чужбина»? Превосходная вещь, и вообще Жаботинский удивительно интересный, умный, искренний человек в своих трудах. Комедия его взволновала меня отчаянно, и я всем рекомендую ее, как образец искренно написанной книги.

Желаю Вам всего хорошего

А. Пешков.

VII.

18-го октября 1913 г.

Дорогой Оскар Осипович!

На письмо Ваше ответил Константин Петрович*). Я уверен, что его подробный ответ облегчил Вашу задачу. Лично я в этом деле совершенный истукан, договора не знаю; о том, что П... должны мне, осведомился год тому назад, писал им вполне корректно о необходимости уплатить мне долг, а они, культурные люди, отнеслись к моим посланиям небрежно и невежливо, как видите из переписки. Говорю все это того ради, чтобы Вам было ясно: инициатором договора с П... и человеком, знающим дело в подробностях, является Константин Петрович, ему и книги в руки. Разумеется, — я вполне согласен с его письмом. Воротился я из поездки вчера, сейчас же подписал доверенность, теперь она странствует по инстанциям, на днях Вы ее получите. И это все, что я могу сказать по делу. А теперь позвольте мне принести Вам мою искреннюю благодарность за Ваше доброе отношение ко мне, я его очень высоко ценю и оно меня искренно трогает.

Вы спрашиваете, почему я не пишу Вам о себе, о своих настроениях. Причин, по крайней мере, три: как я мог знать, что мои «переживания» интересны Вам? Я не умею говорить и писать о себе без того, чтобы после каждой фразы не подумать — это не так сказано, не так написано. И, наконец, не считаю я себя в праве занимать внимание других, — а тем более такого работника, как Вы, — своими личными делами. Живу я интересно; мне кажется, что интересно жить — моя привычка, привычка, самой природой данная мне. Вижу много чудесных людей, часто увлекаюсь ими, иногда наступают разочарования, — тоскую, — снова увлекаюсь, как женщина. Все больше и больше люблю Италию — страну великих людей, прекрасных сказок, страшных легенд, землю праздничную,

---

*) Пятницкий, управляющий издательством «Знание», основанным в С.-Петербурге на средства Максима Горького.

благодатную, добрую к людям, люблю ее с тоской, с завистью и верю, что она медленно, но неуклонно шествует к новому Возрождению. Вот — только что был во Флоренции, Пизе, Лукке, Сиене, маленьких городах Тосканы, — благоговейно восхищался богатствами прошлого, наблюдая дружную работу настоящего, думая о родных Кологривах, Арзамасах, о Пошехоньях и других городах несчастной, ленивой, шаткой родины.

Вы пишете: «мне кажется Вам стало скучно?» Жить не скучно, но невыносимо тягостно думать о России, читать русские газеты, журналы, книги, безумно больно и обидно видеть, как мои духовно нищие соотечественники рядятся в яркие отрепья чужих слов, чужих идей, стараясь прикрыть свою печальную бедность, свое духовное уродство, свое бессилие и жалобную слабость духа. Четыре года длится маскарад побежденных, четыре года недобитые люди, скрывая друг от друга свои раны и боли, притворяются веселыми людьми и, скрывая опухоли от пощечин, без числа полученных ими, надувают щеки и — свистят, вот, де, какие мы веселые, вот какие беззаботные! Видеть это — тяжко до бешенства. Но, разумеется, я знаю, что не все плохо, скажу даже, что я знаю это, как мне кажется, лучше многих, живущих на родине.

Самообман? Нет, Оскар Осипович, обильная корреспонденция из всех щелей и ям России. Я глубоко благодарен Вам за предложение Ваше похлопотать о моем возвращении, я уверен, что Вам это несомненно удалось бы, но не надо! Мне полезно побыть здесь, мне надо многому учиться, и я, понемножку, учусь. У меня более трех тысяч книг, я читаю восемь газет, все журналы и не чувствую себя оторванным от родины. Около меня — хорошие люди, мое уважение к человеку не падает, а растет, принимая все более ясные формы. Нет! в Россию мне рано возвращаться.

Если бы я этого хотел, или если бы считал нужным для чего-нибудь — я вернулся бы в Иркутск, Архангельск, в тюрьму, если это угодно жалчайшему и бездарнейшему из правительств европейских. У меня много задач, может быть они мелки, но это мои задачи, и я их должен решить. Верю в

себя, верю, что моя работа полезна, а где работать — все равно. Я слишком русский, хорошо заряжен с юности, и пороха у меня хватит на долго. Пусть могильщики зарывают меня живым в землю, я все до последнего дня буду говорить то, что считаю нужным. И, наконец, важно не то, как относятся люди ко мне, а только как я отношусь к людям.

Добрая и милая мысль хлопотать о моем возвращении в Россию внушена Вам, вероятно, странной газетной заметкой о моей якобы тоске по родине и о предпринятых мною шагах к возврату в Россию. Это — выдумка, я, само собою разумеется, никаких шагов не предпринимал.

Затем, дорогой Оскар Осипович, желаю Вам всего лучшего, желаю доброго здоровия, бодрости душевной и еще раз — спасибо Вам!

Сердечно приветствую Розу Гавриловну, поклон Вашей дочке. М. Ф.*) и К. П.**) просят поклониться Вам, что и делаю с удовольствием. Будьте здоровы. **А. Пешков.**

VIII.

28 декабря (1913 г.)

Дорогой Оскар Осипович!

Поздравляю с наступающим новым годом, искренно желаю новых сил, здоровья, бодрости духа. Боюсь, — сердитесь Вы на меня за то, что я своевременно не ответил на ваше письмо, — но — во-первых, был адски занят, во-вторых же — решение вопроса о сумме иска лежит не на мне одном. Мне очень противны г.г. П... и возиться с ними не нахожу удовольствия, но — условия с ними заключал К. П. Пятницкий, и когда я сказал ему, что взять с этих бар, что они дают, — он решительно высказался против. Ему и книги в руки. Вот как стоит дело. Теперь, несколько освободясь от работы, я снова попытаюсь убедить К. П. согласиться с предложением П... Засим — еще раз желаю вам всего лучшего и кланяюсь семье вашей.

---

*) М. Ф. Андреева.
**) К. П. Пятницкий.

IX.

(1914 г.)

Дорогой Оскар Осипович,

Я очень прошу вас приостановить взыскание с П..., — он сообщил мне, что в данное время уплата долга мне очень стеснила бы его. Вы извините мне то, что я не был у вас, — ведь я ни у кого не был в С.-Петербурге — уж очень занят, да к тому же и хочется, и необходимо видеть «публику» в массе раньше, чем увидеть добрых друзей. Сегодня в 9 веч. уеду в Финляндию, через недели две вернусь и непременно буду у вас, а пока крепко жму руку вашу и сердечно кланяюсь супруге вашей. М. Ф. просит передать ее поклоны и добрые пожелания. Письмо ваше только сегодня попало в руки мне. Всего хорошего.

А. Пешков.

12 окт. 1925 г.
Сорренто.

Дорогой Оскар Осипович,

к сожалению я лишен возможности исполнить Ваши желания.

Записки по поводу 9-го Января у меня нет. Подлинник ее, вероятно, лежит в Госархиве, где хранится архив и Департамента полиции, копия должна быть в Ваших делах. Напечатана ли где либо эта записка, — я не знаю.

В «Кожемякине» нет описания крестного хода, должно быть это в какой-то другой книге. В какой — не помню, а книг моих у меня нет и поискать в них не могу.

Воспоминаний Ваших в «Совр. Записках» не читал. Пожалуйста, пришлите оттиски, если имеете их.

И очень прошу прислать книгу воспоминаний, а я Вам пришлю мою новую повесть.

Будьте здоровы.

А. Пешков.

XI.

24 ноября 1925

Дорогой Оскар Осипович,

поверьте, что у меня нет возможности достать «воззвание» по поводу 9-го Января: я не имею знакомых в Истпарте и Госархиве, где, вероятно, находится это воззвание. Подождем, не опубликуют-ли его в ближайших книжках «Красного Архива», я слышал, что там собрано много материалов по 905 году, и что скоро его будут печатать.

По поводу «крестного хода» — недоумеваю. Может быть Вы имеете в виду заключительные страницы «Исповеди»? Очень жаль, что не могу послать Вам эту книгу, у меня, конечно, моих книг нет. Но Вы можете получить ее в Тургеневской библиотеке.

Я — нездоров и переехал лечиться в Неаполь. Живу: Posilippo, Villa Gallotti.

Желаю Вам всего доброго. **А. Пешков.**

P. S. А нет ли этого «воззвания» в архиве В. Л. Бурцева?

В. Г. КОРОЛЕНКО

I

6 февр. 1913
Полтава, М. Садовая, 1

Глубокоуважаемый и дорогой
Оскар Осипович.

Написал я Вам на-днях просьбу, касающуюся судьбы одного лица в связи с амнистией. Простите, но у меня является теперь по ассоциации одна идея, вызванная Вашим обычным участием к моим злоключениям. Думаю, именно, что, если-бы представилась возможность (что, впрочем, кажется сомнительным вообще) оказать в этом отношении некоторое влияние и на мою судьбу, то Вы бы вероятно от этого не отказались.

Неправда-ли? Так вот я и хочу (на всякий случай) убедительнейше просить Вас ни под каким видом этого не делать. Всякое облегчение, которое-бы последовало не чисто автоматически, т. е. не в порядке общего применения манифеста, — меня-бы глубоко огорчило и даже, скажу прямо — при моих условиях оскорбило-бы. И это — не вследствие даже необходимости каких-бы то ни было просьб и ходатайств, а просто самым фактом какого-либо личного из'ятия по сравнению с другими.

Может быть все эти предупреждения и излишни. Тогда простите и вмените сие послание, яко не бывшее.

Крепко жму руку и прошу передать мой привет Вашей семье. То-же и от Авдотьи Семеновны.

Искренно Вас уважающий **Вл. Короленко.**

II

16 марта.

Дорогой Оскар Осипович.

Итак мои тяжкие и нераскаянные преступления, предусмотренные 128, 129, 1034 и прочими статьями, ныне монаршею милостью приведены в забвение. В том числе пошли на смарку и честно заработанные собственными моими ораторскими трудами «две недели»! С этими двумя неделями — поздравляю себя, а с остальными Вас: монаршая милость избавила Вас от неблагодарного труда защищать столь преступного суб'екта. Навсегда-ли? Бог знает. Во всяком случае — на известное время. И то благо.

Спасибо, дорогой Оскар Осипович. Авдотья Семеновна тоже очень благодарит Вас за своего столь долговременно подсудимого супруга. Желаем столь же успешного исхода в других, более еще трудных делах.

А вот истинная подлость с Бейлисом. Что его судить не будут, я в этом был почти уверен, теперь — совсем уверен. Повидимому, Киевский судебный Округ не знает уже как развязаться с этим делом. А этот бедняга расплачивается.

Крепко жму Вашу руку. Розе Гавриловне, Софье Оскаровне и наследнику Вашему — мой привет, а также Владимиру Васильевичу*), отбившему меня в первой инстанции от свирепого Сопоцьки.

Ваш **Вл. Короленко.**

Полтава, М. Садовая, 1.

III.

18 марта 1913 г., Полтава.

Дорогой Оскар Осипович,

Сейчас только получил нижеприлагаемую копию с дополнительного приговора. Что значит заключительная фраза: «в остальных частях приговор оставить в силе»? Лишение некоторых прав? Или конфискация книги? Жму руку.

Вл. Короленко.

IV.

18 сент.

Мест. Сорочинцы (Полт. губ.)
дер. Хатки

Дорогой Оскар Осипович.

Пишу Вам из глубины своей Полтавщины и не знаю, поспеет-ли еще письмо. Вы пишете, что после 20-го уезжаете и вернетесь только к 15—20-му октября. Значит-ли это, что Вы едете на дело Бейлиса? У нас тут появились слухи (в том числе в местных газетах), что дело опять, после открытия заседания, будет отложено. Правда-ли?

Отчета о Мултанском деле собственно нет. То есть нет отчета о последнем разбирательстве, если не считать отчетов газетных, далеко не полных. Я с товарищами составили отчет только о втором разбирательстве. Эта книжечка у меня в

*) В. В. Вебер — помощник О. О. Грузенберга.

Полтаве, и я ее сейчас прислать никак не могу, потому что сам сижу в глухой деревне, в 27-ми верстах от ближайшей железно-дор. станции. Может быть дадите адрес и я Вам пришлю ее через некоторое время.

Вообще — можно-же Вам писать в Киев. Вы туда именно отправляетесь непосредственно из Петербурга?

Крепко жму руку. От души желаю и крепко верю в успех.

Вл. Короленко.

Есть черносотенные брошюры, изданные Поч. Лаврой, «об отроке Гаврииле, жидами замученном». Показывают и его мощи в Слуцке. У меня есть некоторые замечания на случай, если-бы эти брошюры были представлены суду в качестве доказательств ритуальных убийств.

А. Ф. КОНИ

I.

I. 18, 24

Ваше письмо, глубокоуважаемый Оскар Осипович, застало меня в состоянии крайнего переутомления, и потому я не пишу сам, а диктую письмо к Вам.

Благодарю Вас за добрый отзыв о моей деятельности. В ней могли быть ошибки и недостатки, но она всегда стремилась к одной цели — служению правосудию и правосознанию. Этот путь был богат терниями, бесплодной тратой сил и разочарованиями в людях. С этим итогом встречаю я девятый десяток лет моей жизни, т. к. десятого февраля по нов. ст. мне минет 80 лет. К большому сожалению, не могу прислать Вам желательного оттиска Ваших статей. Несколько лет назад неожиданные ночные посетители, движимые любопытством, так растормошили мою библиотеку, что я многого в ней не могу найти, не могу найти и «Журнала Юридич. Общества»; вероятно, он куда-нибудь запропастился, но для поисков его у меня, к сожалению, нет времени и сил.

По второму из Ваших вопросов я должен сказать, что

всецело отдался педагогической деятельности и с 1918 года читал курсы уголовного процесса и разработанной мною «Этики общежития» (судебная, врачебная, экономическая, законодательная, литературная и художественная, этика воспитания и личного поведения) в I и II Петербургских Университетах, Институте Живого Слова (учение об ораторском искусстве) и в Институте Кооперативов. Одновременно я читал отдельные лекции по общественным вопросам, по психологии и по личным воспоминаниям о выдающихся писателях — в Академии Наук, в Доме Литераторов и Доме Ученых, а также в Доме Искусства, в Медицинской Академии, Политехническом Институте и Женских Медицинских Курсах. Меня приглашали также нередко читать мои воспоминания в Музее Города, Музее театров и в разных бывших гимназиях и общественных библиотеках. В прошлом феврале я ездил в Москву читать 4 лекции о Толстом, Достоевском, о психологии памяти и внимания и о самоубийстве. Часть всех этих лекций читалась с благотворительной целью помощи учащейся молодежи, которая своим бескорыстным стремлением к знанию и своей вдумчивостью внушает мне искреннюю симпатию. Особые способности и чуткость проявляют слушательницы, уделяя время на посещение лекций от своих иногда очень тяжелых трудов. В материальном отношении приходилось по временам и подолгу испытывать тяжелое положение. К этому присоединилась постоянно усиливающаяся физическая слабость. Сломанная когда-то нога дала, вследствие ошибочного диагноза, все увеличивающуюся хромоту, доведшую до того, что я могу передвигаться лишь с двумя костыльками, так что трудно пользоваться трамваем (извозчики непомерно дороги), почему приходится обусловливать приезд на лекции присылкой способов передвижения. Дурно сплю и часто страдаю болезненным сжатием сердца (неврозным). Тем не менее стараюсь по возможности приносить посильную пользу, покудова не грянет последний час, которого жду без страха и малодушного уныния, памятуя слова Марка Аврелия о том, что самый постыдный вид жалости есть жалость к самому себе.

В эти годы я довольно много писал. Издал в Берлине III и IV томы моего «Жизненного Пути», книжки: «Петербург по воспоминаниям старожила», — «Память и внимание», — «Суще-глупые и умом прискорбные» (воспоминания об освидетельствовании сумасшедших), — «Суд, наука и искусство» (о разных видах экспертизы), поместил отдельные статьи в журналах «Дела и дни» и «Голос минувшего» и в сборниках, посвященных памяти Толстого, Чехова, Тургенева, Достоевского, Некрасова и Островского. Написал еще не прошедшие через цензуру воспоминания о графе Витте (по поводу его мемуаров), о деле Засулич и о крушении в Борках в 1888 г. Наконец, издал еще книжку «Самоубийство в законе и жизни», а также делал доклады и председательствовал в основанном мной Тургеневском обществе.

Радуюсь Вашему свиданию с Я. С. Гуровичем, о котором сохранил самые теплые воспоминания, но тревожусь неполучением от него ответа на 2 моих письма. Вполне понимаю Вашу тоску по России и по Вашей блестящей адвокатской деятельности, но вполне разделяю Ваше мнение о трудности ее продолжения. Желаю Вам серьезного поправления здоровья и всего хорошего в наступившем году. Очень благодарю Вашу супругу за память обо мне и прошу передать ей мой душевный привет.

P. S. Сверх того, что написано на первом листочке я считаю нужным сделать следующие добавления: в последние годы мною было сделано несколько докладов по предметам драматического искусства в музее академических театров и в столетие рождения Д. А. Ровинского в музее Александра III (ныне народном музее); в 1918 году я основал Тургеневское общество, оживленная деятельность которого прервалась лишь в 1923 году за недостатком средств и за смертью наиболее деятельных членов (Венгерова, Полякова и др.). За время октябрьской революции я написал для сборника, посвященного памяти Савиной, большой очерк: «Савина и Тургенев», и воспоминания о Московском Малом Театре и его деятелях

к столетию этого театра и за это время в Петербурге и Москве выпущены следующие мои книжки: Петербург по воспоминаниям старожила (свод лекций, читанных в обществе старого Петербурга); «Отрывочные воспоминания об С. Ю. Витте» (по поводу его мемуаров); — «О самоубийстве в законе и жизни»; психологический этюд о памяти и внимании и брошюры, посвященные памяти И. Я. Голубева и Чехова. За границей изданы III и IV томы «На Жизненном Пути» (в Берлине товариществом «Библиофил»). Желаю Вам всего доброго.

А. К.

IX. 21. 1925 г.

Глубокоуважаемый Оскар Осипович!

Простите замедление в моем ответе на Ваше, очень меня порадовавшее письмо. Неудачное пребывание летом в Павловске вызвало сильнейшую простуду с ревматическими болями и сильным бронхитом, что продолжается до сих пор, вынуждая меня прибегать к дружеской руке для писания Вам ответа. Прежде всего позвольте устранить возможность ошибки в понимании 60-тилетия моей деятельности. Оно наступит, в сущности, в смысле с л у ж е б н о й д е я т е л ь н о с т и 30-го Сентября (старого стиля) этого года. Оставленный при Московском Университете по кафедре Уголовного права за мою кандидатскую диссертацию: «О праве необходимой обороны», я был, с двумя моими товарищами, предназначен для посылки за границу в группу, состоявшую под руководством Н. И. Пирогова. Командировка эта была, однако, отложена на неопределенное время, и мне пришлось в ожидании ее поступить на службу в совершенно преобразованный Государственный Контроль, куда Татаринов созывал молодые силы. Мое определение состоялось именно 30 сентября 1865 года. В Декабре того же года Д. А. Милютин, вследствие рекомендации Университета, предложил мне состоять при Главном Штабе для юридических работ, каковые по преиму-

ществу касались выработки подготовительных работ по уголовному судопроизводству. Но, когда 17 апреля 1866 года были введены в Петербурге новые судебные учреждения и Судебные Уставы заслонили собой старое бессудие я, несмотря на желание удержать меня и на более высокий оклад, мною получаемый, добился места помощника секретаря Судебной палаты и с этого времени в течение сорока с лишком лет прошел почти все ступени судебной службы, к которой вернулся снова через десять лет, уже после упразднения Государственного Совета, причем в последний год существования Сената нам пришлось с Вами работать вместе. После упразднения Сената я служил профессором Уголовного Судопроизводства в I и втором (ныне упраздненном) Петроградских Университетах, в институте Кооператоров, где читал большой курс этики общежития и в Институте живого слова (ныне институт техники речи), где читаю до настоящего времени уже в течение шести лет «ораторское искусство». К частным занятиям с 1918 года до сих пор относится чтение мною ряда лекций в Клиническом Институте по вопросам судебно-медицинской экспертизы и врачебной этики, чтение публичных литературных лекций в Москве в 1923 и 24 годах, а также биографических очерков и личных воспоминаний о выдающихся русских писателях в Доме Ученых и т. д. По званию Почетного Академика по поручению Академии я читал в ее публичных заседаниях: о Пушкине в 125-летие его рождения в 1924 году, и в столетие рождения Тургенева в 1918 году. Так, неся разнообразную службу родному правосудию и разным сторонам просвещения, я дойду 30 Сентября старого стиля до конца 60-летнего пути. Что-же касается до моей литературной деятельности, то началом ее практического осуществления надо считать всю первую половину 1866 года, когда в журнале Министерства Юстиции, начиная с его первого номера, появился ряд моих статей: «О сборнике замечательных уголовных процессов Любавского», «Об уголовном праве Англии по поводу сочинения Стифена», перевод сочинения Бернера «О телесных повреждениях», и статья «Об ошибке

в области уголовного права». В этом же году в Московских Университетских известиях было напечатано мое сочинение «О праве необходимой обороны», вызвавшее, как Вы знаете из статьи в Юбилейном сборнике, желание привлечь меня к уголовной ответственности за «превратный образ мыслей». Вот все, что я могу Вам сообщить по интересующему Вас вопросу и сердечно Вас благодарю за Ваши теплые строки. В этом же смысле напишу и Петру Сергеевичу*).

К Вашей верной оценке ядовитой поспешности г-жи Гиппиус могу прибавить лишь то, что предоставление мне лошади для передвижения в 1918 году было вызвано письменным ходатайством студентов юридического факультета, и что мне через некоторое время пришлось отказаться от этого удобства вследствие пред'явления ко мне счета за пользование им в размере, превышающем мою платежную способность. Очень прошу Вас, однако, не затрогивать этого вопроса в печати. Здоровье мое плохо. Приближение 82-го года жизни сопровождается большим упадком сил, а хромота моя развилась до крайних размеров, заставляющих прибегнуть к костылям. Надеюсь, что Вы бодры по прежнему и полны отзывчивости на запросы жизни. Кланяюсь Вашей супруге, с которой Вы меня познакомили в курорте.

Искренно преданный Вам

А. Кони.

III.

X. 14*)

Вчера получил Вашу и Тейтеля телеграмму, глубокоуважаемый Оскар Осипович, и спешу Вас обнять (к сожалению, не знаю адреса Тейтеля, книгу которого читал с большим интересом), поблагодарить от всего сердца за дорогую для меня оценку моей роли в судебной реформе. Меня утешает,

*) Пороховщикову.

*) 1925 г.

что, оглядываясь назад, мне не приходится ни за что краснеть в деле служения (и подчас очень трудного) дорогому делу правосудия. Чувствую себя очень слабым и потому заменяю письмо открыткой. Желаю Вам и Тейтелю всего хорошего.

А. Кони.

IV.

XII. 16 (1925 г.)

Дорогой Оскар Осипович!

Я только что получил Ваше письмо со вложением Вашей прекрасной, тронувшей меня до глубины души, статьи. Сердечно благодарю Вас за ту теплоту, которую Вы внесли в чудесно составленный очерк моей службы обществу. Позвольте только указать на маленькую неточность: я был Вице-Директором Министерства Юстиции и затем исполняющим обязанности Директора не после служения в Гражданском Департаменте Палаты, а до назначения меня Председателем суда, когда произошло дело Засулич, по которому «сферы» желали меня видеть л а к е е м правосудия, а я пожелал остаться слугою п р а в о с у д и я.

Пишу Вам с трудом, ибо страдаю уже целый месяц снова сильным ревматизмом, перешедшим в невралгию лицевых нервов, очень мучительную и отнимающую совершенно сон. А между тем приходится читать большие лекции — о Толстом (по поводу 15-летия его смерти) и о его отношениях со мною (отдельная лекция с большими комментариями), читать курсы техники речи и в клиническом Институте (врачебная экспертиза), и я прихожу домой в совершенном изнеможении.

Доктор приказывает лечь — и придется пропустить участие в чествовании Бехтерева, где пришлось бы увидеться с Вашим братом. Душевно признателен Вашей супруге и сыну за их привет.

Ведь последнему уже 26 лет, что же он делает?

Пожелайте им обоим всего доброго от меня.

А как кажется далек тот Сестрорецк, где мы встречались!

Искренно Вам преданный **А. Кони.**

V.

III. 25 (1926)

Глубокоуважаемый Оскар Осипович!

— с необычайным удовольствием исполняю Ваше лестное для меня желание. Я получил Ваши добрые и теплые строки обо мне и приношу Вам за них живейшую благодарность.

Тотчас по их получении читал Петру Сергеевичу, прося передать Вам мою признательность и сердечный привет. Мне тогда сильно нездоровилось и было вообще трудно писать. Меня тревожит молчание В. С. и я был очень рад, узнав из Вашего письма, что он, повидимому, здоров. Очень ему кланяюсь.

Теперь так часто болит сердце за «сотрудников» жизни и приходится повторять слова Пушкина: «Одних уж нет, а те далече, — как Саади некогда сказал».

Смерть беспощадно косит все вокруг, — и когда я оглядываю мой кабинет, на столах и стенах которого много портретов дорогих мне людей, он мне представляется каким-то кладбищем... Иногда даже хочется написать нечто вроде "Voyage autour de ma chambre" Жозефа де Местра — и помянуть хоть так всех этих «ушедших». Но на это нет времени, да, пожалуй, нет и сил. Приходится очень работать на лекционном поприще. Читаю в Институте Техники Речи (теория и практика ораторского искусства), в Клиническом Институте (врачебная этика и экспертиза), в обществе «Библиофил», в Музее Актеатров (задачи театра и призвание артиста — личные воспоминания), в школе Берлица (о литературном творчестве и его приемах и о языке) и т. д. Большая часть из отдельных лекций — бесплатные, в виду бедственного материального положения некоторых учреждений, где приходится читать не целые курсы, а отдельные лекции. Некоторые аудитории своим составом доставляют мне нравственное удовлетворение. Таковы, напр., врачи, выписываемые Клиническим Институтом в большом числе из провинции «для усовершенствования». Между ними есть очень чуткие и отзывчивые.

Приветствую Вашу поездку и желаю самого блестящего успеха Вашим чтениям, в котором заранее уверен! Меня усиленно звали в Харьков для того-же, но я физически слишком слаб для таких путешествий и сопряженных с ними хлопот.

Вы спрашиваете об обстановке у меня на портрете. Передо мною увы! сигары (никак не могу отстать от этой скверной привычки) и какие?! По доступной для меня цене здесь можно достать лишь те сорта российского производства, которые немцы справедливо называют: "dos amigos extra muros, — capustissima regalia, — stinkadores infames и vomituras flor!" — Сзади виднеется портрет Станиславского, Кавелина и моей старой приятельницы, известной харьковской общественной деятельницы Пономаревой.

Дружески жму Вашу руку и желаю Вам всего хорошего.

Душевно преданный Вам

А. Кони.

VI.

1926. VII, 12

Детское Село

Глубокоуважаемый

Оскар Осипович!

Простите, что запоздало отвечаю на Ваше доброе и тронувшее меня письмо. Я слишком натянул струны моих физических сил, читая чрезмерное количество очень длинных курсовых лекций (между прочим о врачебной этике в клиническом Институте). Результатом явилось крайнее переутомление, вынуждающее меня не писать, а диктовать настоящее письмо. На днях, впрочем, переезжаю в Петербург, где постараюсь восстановить свой голос, очень утраченный мною на лекциях и, если это удастся, отзовусь на приглашение в Харьков и Киев для чтений. Как жаль мне, что не удалось Вас послушать и лично оценить силу и содержание Вашего слова. Будь это в Париже, наш общий приятель Гурович дал бы мне

о нем подробный отчет. Впрочем, он что-то молчит в последнее время, и я как-то боюсь об'яснять его молчание какими-нибудь личными его несчастиями, напр., болезнью или смертью жены. Я имел случай неоднократно созерцать его глубокую, почти юношескую, любовь к ней и могу себе представить если — не дай Бог — это случится. Из письма Вашего вижу, что Вам, все-таки, придется вернуться in's Land wo die Zitronen blühen. Не зная, когда это может случиться, пишу Вам по адресу заголовка Вашего письма. Крайне интересуюсь Вашей будущей лекцией о роли русского суда, в успехе которой не сомневаюсь. Она наверно пролила бы некоторый елей в свежие раны старого судебного работника. Меня тревожит, однако, состояние Вашего здоровья. Я по опыту знаю, как целительно пребывание на милом Рижском Штранде. Но не пойдет ли северная осень вразрез с благодатным влиянием юга? Во всяком случае, желаю Вам и Вашей семье всего доброго и светлого и сердечно благодарю за добрый отзыв Ваш о моей деятельности в осуществлении Судебной реформы.

Искренно преданный Вам

А. Кони.

P. S. Я очень тронут милым вниманием, выразившемся в присылке мне десяти прекрасных сигар. Но, так как таможня взыскала за них с меня три рубля семь гривен, то я просил бы мне больше таковых не присылать: это мне не по моим скудным средствам. Я курю здешние Capustissima Regalia в 40 к. десяток.

И. Е. РЕПИН

I.

11 дек. 1910, Куоккала

Глубокоуважаемый Оскар Осипович.

Вчерашний вечер у Вас открыл мне новый взгляд на тактику, какую должны-бы мы усвоить для успеха дорогого

нам дела — освобождения. Собрание было богато опытными ораторами, энергичными защитниками доброго начала, способными действовать без страха и упрека против смертной казни.

Я соглашался более всего с хозяином. Убедительность и огненная страстность его зажигали меня и хотелось сейчас-же пожертвовать всем для неотложного выступления на борьбу, во что бы то ни привело...

Только сегодня утром я способен был рассуждать хладнокровно и на столько самостоятельно, что решаюсь и Вам поведать мой взгляд на это ответственное дело.

Мне кажется, что всей русской интеллигенции, и особенно всей учащейся и выучившейся молодежи, должно поклясться — всем святым совершенно замолчать и затаиться на 10 лет. Полное смирение, воздержка, дисциплина: совершенная тишина и труд — активная тишина. Учиться всему и особенно дисциплине и корректности к своим принципам.

Рости в числе, рости в средствах, рости в знаниях — в силе.

И... как только выпадет благоприятный интервал жизни, встать всем и в полном молчании и порядке, совершенно гуманно сделать выступление, убедившись в несомненной победе правого дела.

Пока сила физическая не будет просвещена до готовности защищать закон народа и порядок, до тех пор не следует проваливать святых заветов лучшей части человечества, которыми мы только и живем, даже и в этом миазме крови и насилий...

Ваш **Ил. Репин.**

II.

27 дек. 1910, Куоккала

Искренноуважаемый

Оскар Осипович,

В рассеянности я забыл ответить Вам тотчас же: Мое вступление в члены О-ва, которое я имел честь видеть и слы-

шать у Вас, я считаю решенным и никоим образом не анулированным*).

Теперь только я сообразил, что писал Вам собственно не по тому вопросу, который дебатировался у Вас тогда.

Мое рассуждение касалось другого, более общего вопроса, о котором следует серьезно поговорить при свидании.

Примите наше поздравление, т. е. мое и Натальи Борисовны, с Праздниками Вас и Вашу красивую семью!

С глубоким уважением и преданностью Вам

Ваш **Ил. Репин.**

---

*) Буду очень счастлив, если окажусь полезным О-ву.

ОГЛАВЛЕНИЕ




2014021105